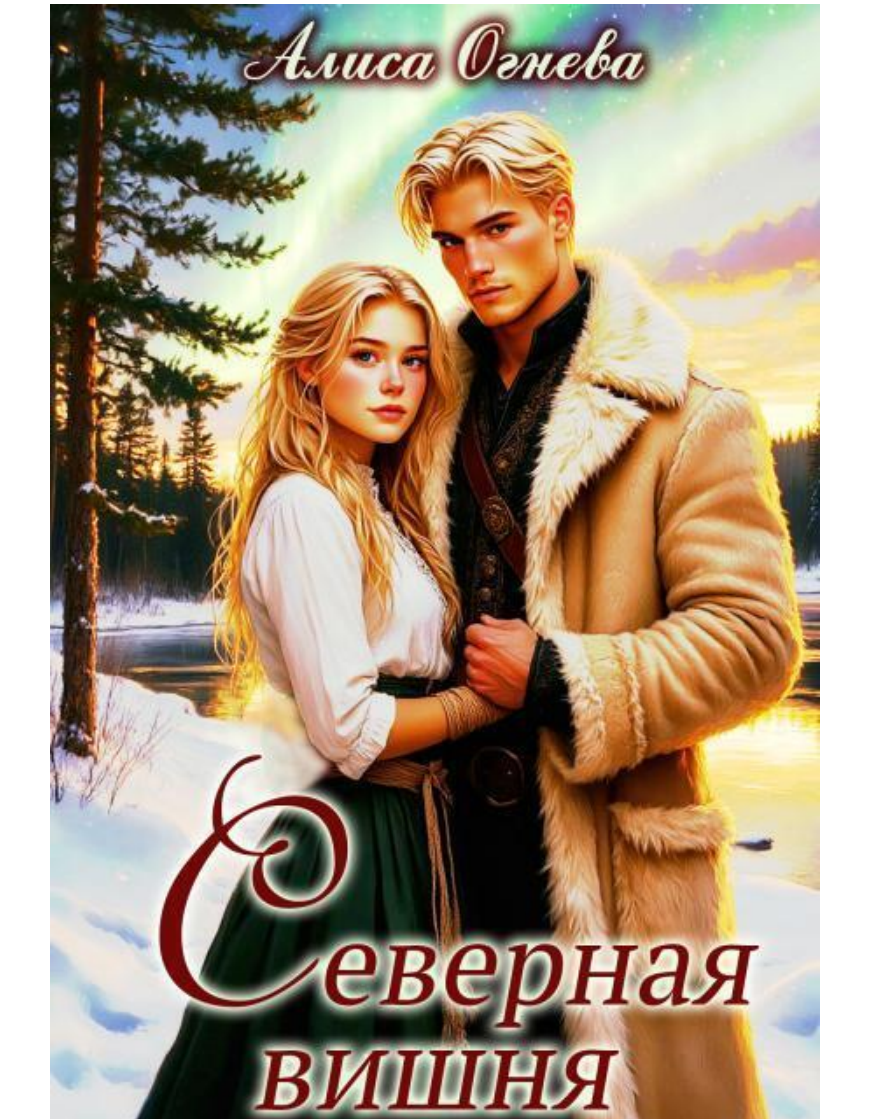


A romantic illustration of a young man and woman in a snowy forest. The man, with blonde hair, wears a thick fur coat and holds the woman. The woman has long blonde hair and wears a white blouse and a dark green skirt. They are standing in a snowy landscape with evergreen trees in the background. A rainbow is visible in the sky above them, and the scene is lit with the warm glow of a sunset or sunrise.

Алиса Огнева

*Северная
вишня*

Алиса Огнева

Северная вишня

<https://litres.ru/74541213>

Аннотация

Я — Аня, уставшая от работы московского хирурга и одиночества. Прыжок на тарзанке — и вот я уже в теле «проклятой» девушки на краю сурового, недружелюбного Севера. И единственный, кто меня здесь «защищает» — хмурый княжич-изгнанник, называющий меня своей собственностью. Бесит? Да. Но я — врач, а значит как та фея — буду причинять добро и спасать, даже если для этого понадобится топор.

Содержание

Глава 1. Прыжок.	4
Глава 2. Немая	20
Глава 3. Первая кровь	36
Глава 4. Собственность	50
Глава 5. Скальпель и серебро.	62
Глава 6. Голос из тепла.	74
Глава 7. Лёд и пламя.	87
Глава 8. Кости говорят.	103
Глава 9. Первая невеста	118
Глава 10. Серебряная нить.	131
Глава 11. Южный гость.	146
Глава 12. Древо переходов.	161
Конец ознакомительного фрагмента.	162

Глава 1. Прыжок.

Сентябрьский воздух Москвы пахнет бензином и прелыми листьями. Выхожу из приёмного покоя, щурюсь на низкое жёлтое солнце — бесполезное, оно всё равно не греет. За спиной остались четырнадцать часов смены. Три операции. Один труп. Мальчик двенадцати лет, сбитый мотоциклистом на пешеходном переходе. Вскрыли брюшную полость, а там — всё в крови, печень разорвана, селезёнка — осколками. Руки помнили каждое движение: зажим, шов, зажим, шов. Не успели. Он умер на столе, когда я уже зашивала. Дыхание остановилось — и всё.

Пальцы сейчас слегка дрожат. Перебор с кофеином за смену — шесть чашек, последнюю пила прямо в операционной, пока медсестра накладывала салфетки. Хорошо, никто не видит. Сую руки в карманы куртки. Кожаные перчатки воняют потом и йодом, надо бы выбросить, но лень. Никто не заметит. Никому нет дела до дрожащих пальцев тридцатилетней женщины, которая идёт по мосту через Яузу.

Останавливаюсь у перил. Вода внизу серая, маслянистая, отражает облака. Смотрю и думаю: а если прыгнуть? Сразу же ловлю себя на этой мысли. Глупо. Я врач. Я спасаю, даже когда не хочется. Даже когда пациент уже холодный, а родственники плачут в коридоре. Даже когда внутри пустота, которую не заполнить ни кофе, ни сменами.

Вспоминаю, как полгода назад лечила девушку, которая прыгнула с этого же моста. С позвоночником тогда было плохо, пришлось собирать позвонки по кусочкам. Выжила. А я стояла у её кровати и думала: «Зачем? Чтобы потом снова попробовать?» Цинично, но честно. Мы, врачи, не имеем права на такие мысли. Но кто узнает?

— Аня!

Голос сбоку, знакомый до скрежета. Ленка. Моя единственная подруга, если можно так назвать того, кто не даёт тебе сдохнуть от одиночества. Она всегда появляется в самый неподходящий момент. Короткая стрижка, ярко-красная помада — цвет «вишнёвый взрыв», она любит эти названия, — пальто в обтяжку, каблуки, которые цокают по асфальту, как метроном. Ленка работает в рекламе и всегда выглядит так, будто её только что отфотошопили для глянца.

— Ты как после боя, — говорит она, подходя. — Опять смена?

— Угу.

— Аня, ты превращаешься в зомби. Тёмные круги под глазами, худеющая, руки трясутся. — Она хватает меня за локоть, и её пальцы горячие. — Слушай, хватит. Пойдём сегодня. Тарзанка в парке. Помнишь, я говорила? Забронировала.

— Ты серьёзно?

— Абсолютно. Тебе нужен адреналин. Вытрясти из тебя эту серость. Прыгнешь — и сразу станет легче. Психологи

говорят, экстрим лечит выгорание.

Психологи... Интересно, сколько из них сами работали в красной зоне? Но спорить не хочется. Открываю рот, чтобы отказаться — уже приготовила фразу про усталость и ранний подъём, — но вместо «нет» выходит:

— Когда?

— В семь. Я заеду на машине.

Ленка убегает, цокая каблуками, и я остаюсь на мосту с чувством, что только что подписала себе приговор. Впрочем, какая разница? Тарзанка так тарзанка. Всё равно после работы ничего не хочется, кроме как лечь лицом в подушку и не просыпаться. Хотя просыпаться всё равно придётся. Завтра новая смена. Новые пациенты. Новые трупы.

Иду дальше, к метро. В голове — пустота, только счётчик шагов: сто двадцать три, сто двадцать четыре. Обратно пересчитывать не буду. Вечером всё забуду.

Вечер. Парк. Тёмное небо с редкими звёздами — Москва их не любит, съедает светом фонарей и рекламных вывесок. Воздух пахнет жареными семечками и сыростью. Вышка на сосне — металлическая конструкция, прикрученная к стволу болтами. Инструктор проверяет трос, Ленка болтает о чём-то своём, не слушаю. Альпинистская обвязка на мне, Ленка затягивает её слишком туго, врежется в бёдра.

— Не бойся, — говорит инструктор. Парень лет двадцати пяти, бейджик «Саша», глаза спокойные, привыкшие к таким, как я. — Верёвка новая, держит тонну. Ты лёгкая.

— Я не боюсь.

И правда не боюсь. Внутри — пустота. Абсолютный вакуум, как в операционной после того, как пациента уже не спасти. Сердце колотится ровно, как метроном. Смотрю вниз — чёрная вода пруда, в ней отражаются огни набережной. Прыгать с тарзанки в Москве — это не в ущелье. Это так, пощекотать нервы офисным планктонам.

— Готова? — Саша проверяет карабины, дёргает, щёлкает металл.

— Готова.

Встаю на край. Ноги сами сжимают деревянный настил — грубый, с занозами, даже через подошву кроссовок чувствую. Ленка снимает на телефон, что-то кричит: «Улыбнись!» Не слышу. В ушах шумит кровь.

Прыжок.

Ветер в лицо — холодный, резкий, пахнет рекой и прелью. Земля уходит из-под ног, живот уходит в пятки. На секунду — свобода. Полёт. Сердце наконец пропускает удар, и в груди распускается что-то тёплое, забытое. Адреналин. Тот самый, ради которого люди лезут в горы и прыгают с мостов.

И тут же — рывок. Не тот, упругий, какой должен быть. Нет. Что-то щёлкает. Громко, как выстрел. Металлический звук, от которого закладывает уши.

Верёвка лопнула.

Лететь теперь просто падение. Без тормоза. Вижу воду, приближающуюся слишком быстро. Мысль: «Блин, не успе-

ла». Другая: «А в принципе, ничего не жалко». И сразу стыдно за эту мысль. Мать бросила меня в роддоме, бабушка умерла пять лет назад от рака поджелудочной — я тогда была на первом курсе, ничего не умела, даже обезболивающее не могла подобрать правильно. А теперь и сама лечу в чёрную воду, и никто даже не вспомнит.

Крик Ленки — уже далёкий, будто с другой планеты. Звук замедляется, превращается в низкое гудение.

Темнота. Но не сразу. Сначала — вспышка. Белая, как свет в операционной, когда включают лампу над столом. И в этой вспышке — лица. Незнакомые, расплывчатые. Женщина в белом платке, мужчина с бородой, девочка с косами. Они смотрят, протягивают руки. И голос — не снаружи, а внутри, в самом основании черепа: «Возвращайся. Ты обещала».

Потом — рывок, уже не физический. За самую суть, за ниточку, о существовании которой даже не подозревала. Меня тащат сквозь что-то липкое, тёмное, холодное, как вода в проруби.

Треск. Холод. Запах.

Открываю глаза — ни черта не видно. Темнота плотная, как стерильная повязка, которую наложили на лицо. Лежу на чём-то твёрдом и пахнущем дымом — не берёзовым, как в бане, а другим, смолистым, с горчинкой. Пытаюсь вдохнуть глубже — получается, воздух холодный, сухой, царапает горло. Когда открываю рот, чтобы позвать на помощь, из горла

выходит только сип. Ни звука. Вообще. Как будто кто-то вырезал голосовые связки и зашил горло изнутри.

Паника накатывает волной — горячей, липкой. Пытаюсь сесть — тело не слушается. Оно другое. Чувствую это сразу: кости тоньше, плечи уже, грудь тяжелее — совсем другая форма. Голова кружится иначе, центр тяжести сместился куда-то вниз. С трудом поднимаю ладонь перед лицом. В темноте не разглядеть, но на ощупь — чужая кожа. Шершавая, с мозолями. Пальцы — мои? не мои — такие же длинные, как были, но грубее, ногти обкусаны, под ними грязь.

Где я?

Сжимаю и разжимаю кулак. Лёгкое покалывание в левом запястье. Провожу пальцем другой руки — шрам. Старый, волнистый, с бугорками. Не такой, как у меня был — тот, от скальпеля, тонкий и белый. Этот грубый, похож на след от ожога. Провожу выше — ещё один, ниже — целая россыпь. Упала в костёр в детстве, всплывает в голове чужая память или догадка. Не порезы, слава богу. Но всё равно неприятно.

Пытаюсь крикнуть снова. Тишина. Горло сжимается, как будто внутри завязали узел. Я знаю анатомию: голосовые связки находятся в гортани, между перстневидным и щитовидным хрящами. Они могут быть парализованы, повреждены, спазмированы. Но здесь другое. Я чувствую, что связки целы — воздух проходит, вибрирует, но звук не выходит. Кто-то запечатал их изнутри, как банку консервов.

Вокруг пахнет дымом (берёзовым, теперь узнаю), кислой

капустой — запах брожения, знакомый по деревенским бабушкиным погребам, — и овечьей шерстью. Ланолин, мысленно ставлю диагноз. Животные здесь есть, шерсть не стиранная, грубая. Слышу потрескивание — печь. Где-то слева шипит и постукивает огонь, дрова горят неравномерно, иногда стреляют смолой. Значит, я в помещении. Не в больнице — слишком грубо пахнет, нет антисептиков, нет урины и хлорки. Дом. Изба.

Шорох. Скрип половиц — низкий, дребезжащий, у самого порога. Кто-то идёт. Шаги старые, шаркающие, одна нога волочится.

— Очнулась, Зимня? — голос старухи, хриплый, с одышкой, но не злой.

Пытаюсь повернуть голову. Шея затекла — пролежала так вечность, мышцы одеревенели. В слабом свете от печи вижу силуэт: маленькая, сгорбленная, в тёмных одеждах. Она подходит ближе, в руке — лучина. Пламя жёлтое, коптящее, освещает её лицо: глубокие морщины, смуглая кожа — не северная, южная, — повязка на левом глазу из тёмной кожи. Второй глаз, карий, живой, с лучистыми морщинками в уголках, смотрит на меня в упор, изучает, как рентген.

— А я думала, дух испустишь, — говорит она, садясь на лавку рядом. Лавка скрипит, старая, сосновая, тёмная от времени. — Немая была — немой и осталась. Зато живая.

Открываю рот. Из горла — только хрип, сип, как у пациента с отёком лёгких. Бесполезно.

— Не старайся, — старуха поправляет повязку. — Тебя запечатали в детстве. Не я, не спрашивай. Жива — и ладно.

Смотрю на свои руки. Теперь, когда лучина ближе, вижу: они худые, бледные, кожа синеватая — северный тип, не хватает солнца. Вены просвечивают. Пальцы длинные, как у пианистки, но мозоли на ладонях — от работы, от топора? Ногти коротко стрижены, под ними земля. И шрамы на запястьях — не порезы, точно ожоги. Костёр. Маленькая девочка упала в огонь. Жутко, но лучше, чем резать себя.

Старуха протягивает кружку. Глина тёплая, шершавая, с неровными краями. Пар идёт, пахнет мёдом и мятой, но мёд здесь другой — дикий, пахучий, с дымком. Не пастеризованный, не безликий, как в супермаркете.

— Пей. Силы нужны.

Пытаюсь взять — пальцы дрожат, не слушаются. Хватаюсь обеими руками, подношу к губам. Горячо, обжигает язык, но я не чувствую вкуса — только тепло, которое растекается по горлу, спускается в грудь. И вдруг странное ощущение: что-то щёлкает в гортани. Как будто замок открывается.

Пробую сказать. Шёпот. Сиплый, металлический, скрежещущий, как несмазанная дверь. Но слово выходит:

— Где?

Старуха поднимает бровь. Единственный глаз смеётся.

— О, заговорила. А говорили — навеки немая. Видать, тепло разбудило. — Кивает на кружку. — Пей больше. Пока

взвар во рту — можешь говорить. Остынет — снова онемешь. Такая у тебя доля.

Делаю большой глоток. Мёд и мята, и ещё что-то — душица, кажется. Горло оттаивает, голос становится чище.

— Где я? Кто вы?

— Ты в святилище Белого Лося. На краю Севера. Зима здесь восемь месяцев, летом снег. А я — Мать Радосвета. Ведунья. Хранительница этого места.

Смотрю на неё. Ведунья. Слово, от которого в моём мире веет фольклором и туристическими сувенирами. Здесь оно звучит иначе — твёрдо, обыденно, как «врач» или «учитель».

— Я Аня. Из Москвы. Я упала с тарзанки.

— Не знаю таких слов, — Радосвета пожимает плечами.
— Знаю, что ты Зимня. Родилась в метель девятнадцать лет назад. Мать умерла в родах. Немая отроду. А теперь в тебя вселилась чужая душа. Или своя, но проснулась. Мне-то что. Главное, жива.

Девятнадцать лет? Мне было двадцать девять. Потеряла десять лет. Тело другое — чувствую каждым сантиметром. Раньше была сто шестьдесят восемь, теперь ниже, наверное, сто шестьдесят. Кости тоньше, слабее. Даже дыхание по-другому работает — лёгкие меньше, ёмкость не та.

Смотрю в маленькое окошко — там чернота, но в щель между волоковыми досками пробивается бледный свет. Луна? Или северное сияние? В Москве я его никогда не видела,

только на фото.

— Как я сюда попала? — спрашиваю, торопясь, пока кружка не остыла.

— А кто ж знает? — Радосвета встаёт, идёт к печи, подкидывает дрова. — Может, сама позвала. Может, боги. Ты не первая, кто падает с неба. И не последняя. Живи пока.

Она говорит так спокойно, будто попаданцы для неё — обычное дело. В Москве я бы назвала это бредом, отправила бы старуху к психиатру. Но здесь, в этой избе, с этим телом, которое не слушается, и голосом, который плавится вместе со взваром, бредом кажется моя прошлая жизнь.

Она поворачивается, смотрит на меня.

— Ты, главное, не бойсь. Люди будут шарахаться, называть проклятой. Но ты не проклятая. Ты — необычная. Это другое.

— А он? — спрашиваю. — Тот, однорукий? Кто он?

— Велеслав, — Радосвета усмехается, и морщины собираются в пучки. — Княжич из южных земель. Изгнанник. Он тебя украл два года назад, когда тебя хотели принести в жертву. С тех пор ты при нём, как обуза. Живёшь здесь, он в лесу. Не трогает тебя, но и не бросает.

— Почему?

— Спроси у него сама. Если заговорит. Он неразговорчивый, — она поправляет повязку. — А теперь спи. Завтра новый день.

Она гасит лучину, и комната погружается в темноту. Толь-

ко печь светится красным, отбрасывает пляшущие тени на потолок. Ложусь на лежанку — жёсткую, пахнущую сеном и шерстью. Сено шуршит подо мной, пружинит. Глаза слипаются, но в голове — каша. Москва, Ленка, тарзанка, обрыв, падение, темнота — и вот это. Чужое тело, чужой мир, старуха с одним глазом и однорукий княжич, который считает меня своей собственностью.

Собственность. В моём мире за это сажают в тюрьму. Здесь, кажется, норма. Но почему тогда он не тронул меня за два года? Почему живёт отдельно, в лесу, и только приходит проверять, жива ли? Странная забота для собственника.

Перед сном успеваю подумать: в Москве я была свободна, но одна. Пустая квартира, холодильник с засохшей едой, чайник, который греется за минуту, и телефон, в котором только рабочие чаты. Здесь я чужая, немая без кружки, проклятая — но меня не бросили. Старуха накормила, дала тепло. Станный обмен.

Проваливаюсь в темноту.

Следующее утро встречаю звоном в ушах и новым запахом — каши. Пшённой, кажется, с тыквой. Открываю глаза. В избе светло — в окно со слюдяным стеклом пробивается мутный, желтоватый свет. Слюда — редкость, Радосвета не бедная. В моём мире слюду использовали в старых печах, а здесь — вместо стекла.

Сажусь на лежанке. Тело болит — каждая мышца ноет, будто вчера бежала марафон. Это нормально после переселе-

ния? Не знаю, нет медицинских исследований по теме «попадание в чужое тело». Провожу пальпацию: рёбра целы, ключицы на месте, пульс ровный, около семидесяти. Зрачки — смотрю в тусклое пятно слюды — сужаются на свету, всё в порядке. Тело здоровое, но истощённое. Зимня недоедала.

На столике у окна стоит новая кружка. Глиняная, с трещиной, но тёплая. Беру, пью. Мёд, мята, и снова душица. Горло оттаивает, голос возвращается.

— Спасибо, — шепчу. Гортань вибрирует нормально, связки целы — просто заблокированы. Как мышца, которую пережало спазмом.

— Доброе утро, — Радосвета входит из сеней. В руках миска с кашей, деревянная ложка. Ставит на стол. — Ешь. Руки мой перед едой, я смотрю, ты вчера к проруби бегала.

— Привычка. — Подхожу к кадке с водой. Вода холодная, обжигает пальцы. Мыло здесь не пахнет ничем — просто щёлок, жирный и скользкий. Сравниваю с антисептиком в больнице: тот пах спиртом и хлоргексидином, сушил кожу. Этот оставляет жирную плёнку.

— Странная привычка, — Радосвета садится на лавку, смотрит. — У нас воду берегут. Топили снег, чтобы мыться.

— В моём мире вода течёт из крана. Горячая и холодная. Можно мыть руки сколько угодно.

— Враньё, — она усмехается, но не зло.

— Правда. И ещё есть электричество — свет, который зажигается кнопкой. И машины, которые ездят без лошадей.

И телефоны, на которых можно говорить с человеком за тысячи вёрст.

Она молчит, переваривает. Потом говорит:

— Станный у тебя мир. Неправильный. Без магии.

— Без магии, — соглашаюсь. — Зато с антибиотиками.

— С чем?

— Лекарства от заражения. Как серебро, но химическое.

Радосвета качает головой, встаёт, идёт к окну. Смотрит на площадь — я вижу в щель между брёвнами колодец, деревянного идола с белыми рогами.

— Ты теперь здесь, — говорит она. — Как Зимня. Немая, но говорящая с кружкой. Проклятая, но умеющая лечить. Люди будут бояться. Но некоторые — благодарить. Вчерашний охотник — твой первый должник.

— Его дочь? Милава?

— Прибежит ещё. Она на тебя смотрит как на чудо. Боятся, но тянется.

Радосвета выходит, оставив меня с кашей и мыслями. Жую пресную кашу — соли мало, тыква сладковатая. В моём мире я бы добавила корицы или мёда, здесь мёд отдельно, в крынке. Но не хочется.

Смотрю на свои руки. Чужие, но теперь мои. Шрамы на запястьях — упала в костёр в детстве, вспоминаю. Радосвета не уточняла, но откуда-то знаю: Зимне было три года, она заигралась у очага, упала. Мать вытащила, обожгла руки, потом умерла в родах. Девочку считали проклятой — мать

умерла из-за неё. С тех пор — тишина и страх.

Сжимаю кружку. Горло гудит, голос пока держится.

В дверь заглядывает девочка. Лет одиннадцати, худая, как щепка, волосы русые, тонкие, заплетены в две тощие косички. Лицо веснушчатое, передних зубов нет — молочные выпали, новые ещё не выросли. Глаза большие, серо-голубые, смотрят на меня с опаской и надеждой.

— Ты та, что спасла папу? — шепчет. Голос свистит из-за отсутствия зубов.

Киваю. Кружка ещё тёплая, могу ответить:

— Да. Как его нога?

— Не болит уже. Он вставать пробовал. Мать Радосвета сказала, через седмицу начнёт ходить.

Девочка делает шаг вперёд, останавливается у стола. Протягивает грязную руку — ногти обкусаны, под ними земля, — и быстро касается моих пальцев. Отдёргивает, будто обожглась. Потом снова протягивает, уже смелее.

— Ты не колдунья, — говорит она твёрдо. — Ты просто лечишь.

— Да, — соглашаюсь. — Просто лечу. Как и твой папа, как и другие.

— Меня Милава зовут, — она улыбается, щербатая улыбка. — Можно, я приду смотреть, как ты будешь лечить? Я хочу научиться. Когда вырасту, тоже буду помогать людям.

Смотрю на неё — грязные руки, худоба, старое платье, перешитое из взрослого. Вспоминаю, как сама в её возрасте

хотела стать врачом. Бабушка тогда болела, лежала в больнице с раком, и я думала: если выучусь, смогу спасти. Не спасла. Бабушка умерла, когда я была на первом курсе. А я всё равно стала врачом.

— Приходи, — говорю. — Только руки мой перед этим. Чистыми руками лечить легче.

Она кивает и убегает, шлёпая лаптями по земляному полу.

Остаюсь одна. Допиваю взвар до дна, чувствую, как горло снова сжимается, как будто кто-то затягивает узел. Голос пропадает, мир становится тихим.

Подхожу к окну. Смотрю на серое небо, на сосны за частоколом — они тянутся вверх, прямые, чёрные на фоне бледного неба. Где-то там, в лесу, живёт человек, который украл моё тело два года назад и называет своей собственностью. Он не трогал Зимню. Не прикасался. Но и не бросал. Странная защита.

Чужая память всплывает откуда-то изнутри — не моя, а той, чьё тело я теперь ношу. Вижу его спину вчера — огромную, в тёмной рубаше, культю, перемотанную кожей. И голос: «Не умирай. Ты мне ещё должна». Должна? Что я ему должна?

В Москве я была свободна. Никому ничего не должна. Но была одна. Настолько одна, что никто бы не заметил, если бы тарзанка не оборвалась — а просто я перестала выходить на связь. Ленка бы позвонила через неделю, потом ещё через

неделю, потом забыла бы.

Здесь я чужая, немая, проклятая. Но меня ждут. Старуха кормит. Девочка тянется. И этот хмурый однорукий княжич приходит проверять, жива ли.

Первый день в новом мире. Начало.

Глава 2. Немая

Просыпаюсь от холода. За окном ещё темно, но печь уже прогорела, и воздух в избе стал ледяным. Дышу — пар изо рта, как в морозный день в Москве, когда выходишь из метро. Здесь, кажется, всегда так. Север. Вечная мерзлота. Восемь месяцев зимы, как сказала Радосвета.

Сено подо мной шуршит, когда сажусь. Тело всё ещё чужое — каждый раз, когда двигаюсь, приходится заново учиться. Руки короче, ноги короче, центр тяжести смещён. Встаю — голова кружится, хватаюсь за стену. Древесина под пальцами тёмно-серая, сосна, старая, с глубокими трещинами. Пахнет смолой и дымом — этот запах, кажется, уже въелся в кожу.

На столике — новая кружка. Глина горячая, пар идёт. Радосвета, наверное, поставила, пока я спала. Беру, пью. Мёд и мята, и снова душица. Горло оттаивает, голос возвращается металлическим, скрипучим звуком.

— Доброе утро, — говорю в пустоту. Звук чужой, будто не мой. В моём мире голос был ниже, спокойнее. Этот — хрипит, иногда срывается на шепелявый свист.

Никто не отвечает. Радосвета, наверное, в сенях или у других изб. Остаюсь одна в горнице, и это первый раз, когда могу осмотреться без её наблюдения.

Комната большая, шесть на восемь метров, как прикиды-

ваю на глаз. Печь занимает четверть избы — массивная, глинобитная, побелена известью, которая уже облупилась. Рядом с печью — широкие полаты, на них сложены овчинные тулупы. Вдоль стен — лавки, сосновые, тёмные от времени, покрытые домоткаными половиками. Половики серо-коричневые, в полоску, шерстяные, пахнут ланолином.

В красном углу, напротив входа, — полка с деревянными фигурками, завёрнутыми в бересту. Не иконы, нет. Предки. Я видела такие в музеях, в этнографических отделах. Рядом — бронзовый крест, византийский, потемневший от времени. Странное соседство. Старая вера и христианство, перемешанные в одной избе, как в моём мире на старых кладбищах, где кресты стоят рядом с языческими камнями.

Подхожу к окну. Три окна в горнице, все волоковые — задвигаются доской изнутри. Стекла нет, вместо него бычий пузырь или слюда. В окне, которое выходит на площадь, — пузырь, пропускает жёлто-мутный свет, всё видно как в тумане. В окне со слюдой — чуть лучше, но всё равно мутно.

Смотрю в левое окно. Там — площадь, утоптанная земля, в центре колодец. Сруб из тёмного камня, ворот деревянный, скрипучий. Рядом — идол. Три метра высотой, выкрашен белой глиной, рога — медные, позеленевшие. Белый Лось. У подножия — свежие ветки можжевельника, запах резкий, смолистый, даже сквозь окно чувствую.

Вокруг площади — избы. Восемь, как сказала Радосвета. Все рубленые из сосны, крыши дранковые, на них камни от

ветра. Ни одного гвоздя, только дерево и камень. В моём мире так не строят уже лет двести, разве что в архитектурных музеях под открытым небом.

Правое окно выходит на лес. Сосны там чёрные, густые, между ними — тропа. Узкая, заросшая, но видно, что хоженная. Кто-то ходит туда-сюда. Может, Велеслав? Его землянка в лесу, Радосвета говорила.

Центральное окно, со слюдой, выходит на озеро. Видно на горизонте — тёмная полынья, даже сейчас, в начале осени, не замёрзшая. Вода там чёрная, как нефть. Берег низкий, болотистый.

Отхожу от окна. Нужно понять, где я и что происходит. Но сначала — осмотреть себя. Медицинская привычка: оценить состояние пациента. Сейчас пациент — я сама.

Сажусь на лавку, закатываю рукав льняной рубахи. Рубаха длинная, до колен, белая, но серая от стирок. Ткань грубая, на ощупь как мешковина. В моём мире я носила хлопок, шёлк, кашемир. Здесь — лён, который царапает кожу.

Рука худая, синеватая, вены просвечивают. Пальцы длинные, с мозолями на подушечках — от работы с иглой? Или от топора? Ногти коротко стрижены, под ними грязь. На левом запястье — россыпь старых шрамов. Ожоги. Кожа сморщенная, белая, блестящая. Точно — следы от огня. Маленькая девочка упала в костёр. Три года, как всплывает в памяти чужое воспоминание. Заигралась у очага, мать вытащила, обожглась сама, потом умерла в родах. И девочку стали счи-

тать проклятой.

Провожу пальцем по шрамам. Они не болят, но чувствительность понижена — нервы повреждены. Это плохо для тонкой работы. Но другие пальцы целы, и это главное.

Осматриваю ноги. Лапти. Плетёные из лыка, грубые, на ногах держатся на верёвках. Портянки шерстяные, серые, штопанные. В моём мире я носила кроссовки с ортопедической стелькой. Здесь придётся учиться ходить в лаптях, как в походе.

Встаю, прохожусь по горнице. Походка шаткая, непривычная. Ноги короче, шаг меньше. Спотыкаюсь о половик — он скользит по полу. Хватаюсь за край стола. Стол массивный, дубовый, со следами ножей и топоров. На столе — глиняная миска с крупной серой солью и деревянная солонка в виде уточки. Красиво вырезано. Здесь умеют делать красивые вещи из ничего.

В сенях слышу шаги. Шаркающие, с паузой — Радосвета. Она входит, в руках миска с кашей.

— О, уже встала, — говорит она. — А я думала, ты до полудня проспишь. Садись ешь.

— Спасибо, — говорю. Голос металлический, скрипучий, но разборчивый.

— Садись, садись. — Она ставит миску на стол. — Сегодня много дел. Нужно тебя людям показать. Чтобы привыкали.

— Показать? — сажусь на лавку. — Как зверя на ярмарке?

— Как новую ведунью. — Радосвета садится напротив. — Ты вчера охотника спасла. Слух разошёлся. Уже двое пришли, просят посмотреть их больных.

Смотрю на неё. Единственный глаз смотрит спокойно, без тени сомнения.

— Я не ведунья, — говорю. — Я врач. Травматолог. Я оперирую, а не заклинания читаю.

— А какая разница? — она пожимает плечами. — Ты ле-
чишь. Значит, ведунья.

В моём мире разница была огромная. Медицина — это наука, доказательства, протоколы. А ведуньи — это шарлатаны и целители. Но здесь, кажется, эти слова значат одно и то же.

— Ладно, — соглашаюсь. — Покажу. Но я не могу без инструментов. Мне нужны ножи, иглы, серебряные нити. И чистая вода. Много чистой воды.

— Вода есть в колодце, — Радосвета кивает на окно. — Ножи найду. Иглы — у меня есть костяные, для вышивки. Серебро — твоё.

— Моё?

— Ты вчера нить из моего украшения взяла, — она усме-
хается. — Значит, теперь твоё. Расплачивайся лечением.

Хороший обмен. Серебро здесь ценят, как антисептик. В моём мире мы использовали спирт и йод. Здесь — серебро и молитвы. Технически то же самое: убивать бактерии. Но механизм другой. Вчера рана затянулась за минуту. Это не

бактерии, это магия. Жива, как она сказала.

— Расскажи про Живу, — прошу, пока ем кашу. — Что это?

— Жива — это жизнь, — Радосвета гладит столешницу, как живое существо. — Она течёт по жилам мира. В деревьях, в воде, в людях. Чистая Жива лечит, даёт силу. Мёртвая — это Навь. Холод, остановка, ложная жизнь. Стужа — это Навь, которая хочет прорваться в Явь.

— Явь — это наш мир?

— Да. Явь, Навь, Правь. Три мира. Мы в Яви. Стужа — из Нави. А боги — в Прави.

В моём мире я не верила в богов. Верила в науку, в протоколы, в доказательную медицину. Но здесь наука не работает. Здесь работают серебро, мёд и молитвы. Придётся переучиваться.

— А Велеслав? — спрашиваю осторожно. — Он связан со Стужей?

Радосвета замолкает, смотрит в окно. Её единственный глаз становится пустым.

— Он проклят, — говорит она тихо. — Или сам проклял себя. Не разберу. Десять лет назад его невеста Милана погибла от Стужи. Он пытался её спасти, но Стужа забрала его руку и её жизнь. С тех пор он её ищет. Хочет вернуть.

— Вернуть мёртвую?

— Стужа не убивает до конца, — Радосвета качает головой. — Она замораживает. Милана не умерла. Она стала

льдом. И Велеслав думает, что если победит Стужу — она оживёт.

— Это невозможно, — говорю. — Клиническая смерть через десять минут — и мозг умирает. Через десять лет — тем более.

— Здесь другие законы, — она пожимает плечами. — Или он просто сошёл с ума от горя. Так или иначе, он тебя украл, чтобы ты не стала жертвой. Его отец, южный князь, хотел принести тебя в жертву Перуну, чтобы остановить Стужу. Велеслав не позволил.

— Почему я?

— Ты — дитя метели. Рождённая в метель, когда грань между мирами тонкая. Твоя кровь — мост. Таких используют в обрядах.

Кровь — мост. В моём мире это звучало бы как бред. Здесь — звучит как диагноз.

Доедаю кашу. Вкус пресный, соли мало. Тыква сладковатая, но не хватает корицы или сахара. В моём мире я добавляла в кашу мёд. Здесь мёд отдельно, в кринке. Но лень тянуться.

— Пойдём, — Радосвета встаёт. — Покажу тебе святилище. И людей. Они должны тебя видеть.

Выходим в сени. Сени — тамбур, узкий, тёмный, пахнет кожей и дымом. Здесь сложены дрова, луки, вёдра. На стене висят берестяные грамоты — письма, наверное. Я не умею их читать, но узнаю буквы. Древнерусский, с диалектами.

Странно, но я понимаю язык, хотя никогда не учила. Может, тело помнит, или душа.

Выходим на площадь. Воздух холодный, колючий, пахнет снегом, хотя снега ещё нет. Небо серое, низкое, давит. Ветер северный, пронизывающий. В Москве в сентябре ещё тепло, люди ходят в куртках. Здесь — как в ноябре.

Люди на площади оборачиваются. Видят меня — и замирают. Взгляды — от испуганных до любопытных. Шёпот: «Зимня... очнулась... говорят, заговорила...»

Чувствую себя экспонатом в музее. Или пациентом с редкой болезнью, на которого приходят смотреть студенты.

Радосвета берёт меня за локоть — пальцы цепкие, горячие.

— Не бойся, — шепчет. — Они просто боятся. Но ты им нужна. Больных много, а врачей нет.

Ведёт меня к колодцу. Идол Белого Лося возвышается над нами, белая глина отсвечивает синим. Глаза — два тёмно-синих камня, смотрят в разные стороны. У подножия — можжевельник, запах резкий, дурманящий.

— Вот, — Радосвета обводит рукой площадь. — Это святилище. Ты теперь его часть. Будешь жить здесь, лечить людей. Пока не решишь, что делать дальше.

— А Велеслав? — спрашиваю. — Он будет приходить?

— Придёт, — она усмехается. — Он всегда приходит. Проверить, жива ли ты. Не беспокойся, он не тронет. Он вообще никого не трогает. Боится своей силы.

— Какой силы?

— Он видит Навь. Носит «око Нави» — повязку, которая открывает третий глаз. Когда он снимает её — видит духов. И они видят его. И тогда Стужа приходит на его зов. Поэтому он всегда закрыт. И всегда один.

Третий глаз. В моём мире это называется шизофренией или галлюцинациями. Здесь — даром или проклятием.

Возвращаемся в избу. В сених стоит девочка — Милава. Та самая, вчерашняя. Щербатая улыбка, грязные руки, косячки торчат в разные стороны.

— Можно посмотреть? — спрашивает она. — Как ты ле-
чишь?

— Сегодня буду смотреть, — говорю. — Лечить — завтра.

— А я буду помогать?

— Будешь. Но сначала вымой руки.

Милава бежит к кадке с водой, начинает тереть ладони щёлоком. Громко сопит, старается. Радосвета смотрит на меня с удивлением.

— Ты её учишь?

— Чистоте. Это главное в лечении. Грязными руками можно убить.

— У нас так не делают, — Радосвета качает головой. — Но может, зря. Может, ты права.

В избе уже ждут двое. Мужчина лет сорока, держится за бок — кашляет, хрипит, дыхание свистящее. Женщина с младенцем на руках — у ребёнка жар, щёки красные, глазки

слезятся.

Сажусь за стол, ставлю перед собой кружку с горячим взваром — чтобы голос не пропал. Подзываю первого.

— Дыши, — говорю мужчине. — Глубоко.

Он дышит. Хрипы в нижних отделах лёгких, влажные, с бульканьем. Пневмония. Или бронхит. Без стетоскопа сложно, но по звуку — что-то серьёзное.

— Кашляй.

Он кашляет. Мокрота густая, зелёная — бактериальная инфекция. В моём мире я бы назначила антибиотики, ингаляции, покой. Здесь нет антибиотиков. Но есть серебро и мёд.

— Серебряную воду пил? — спрашиваю.

— Нет, — он кашляет снова. — Заговоры читали, травы парили.

— Бесполезно. — Поворачиваюсь к Радосвете. — Нужно серебро. Настоять на воде и пить. И мёд с хреном — отхаркивающее. И тепло. Много тепла.

Радосвета кивает, уходит за серебром. Мужчина смотрит на меня с надеждой и страхом.

— Ты ведьма? — шепчет.

— Врач, — отвечаю. — Не бойся. Будет больно — скажи.

Беру его руку, щупаю пульс. Частый, сто двадцать, слабый. Температура высокая — ладонь горячая, сухая. Обезвоживание.

— Пей больше, — говорю. — Воду, отвары, всё тёплое. И

не вставай с лежанки три дня.

Радосвета возвращается с серебряным слитком. Кладёт в кружку, заливает кипятком. Серебро светится — молочный, тусклый свет. Магия. Или химия. Коллоидное серебро в моём мире тоже используется, но не так ярко.

— Пей, — даю кружку мужчине. — Маленькими глотками.

Он пьёт, морщится — серебро горчит. Потом вздыхает, и хрип становится тише. Дышит легче. Я знаю, что коллоидное серебро не действует так быстро. Это магия. Жива. Но я не буду спорить, если работает.

— Спасибо, — шепчет мужчина. — Спасибо, ведунья.

— Иди, — говорю. — Завтра приходи, посмотрю.

Следующая — женщина с младенцем. Ребёнку месяцев шесть, жар под сорок, глаза запали. Плачет слабо, сил нет. В моём мире — немедленная госпитализация, антибиотики, капельницы. Здесь — что? Серебро? Мёд? Молитвы?

— Что случилось? — спрашиваю.

— Зубы, — женщина плачет. — Уже три дня жар, не ест, не пьёт.

Смотрю на дёсны. Красные, опухшие, но без нагноения. Просто режутся зубы. Но жар слишком высокий для простого прорезывания. Может, инфекция.

— Нужно сбить температуру, — говорю. — Холодная вода, обтирания. И пить — каждые полчаса по ложке. Если не будет пить — поите насильно.

— А серебро? — спрашивает женщина.

— Не надо. Ребёнку маленькому серебро вредно. Только вода и холод.

Радосвета смотрит на меня с сомнением. Но я знаю, что делаю. Серебро токсично для младенцев. В моём мире это знают все педиатры. Здесь — нет.

— Делай, как сказала, — Радосвета кивает женщине. — Если не поможет — завтра придём.

Женщина уходит, прижимая младенца к груди. Милава смотрит на меня широкими глазами.

— А почему серебро нельзя? — спрашивает.

— Потому что маленький организм не справится. Серебро накапливается в печени и почках, может убить.

— А ты откуда знаешь?

— Училась, — говорю. — Долго училась.

Милава кивает, будто понимает. Потом спрашивает:

— А меня научишь?

— Научу. Но сначала — руки мой. И ногти стриги. Под ними грязь — источник заразы.

Она смотрит на свои пальцы, краснеет, прячет руки за спину.

— Завтра принесу ножницы, — обещает.

Радосвета усмехается, гладит Милаву по голове.

— Беги, — говорит. — Не мешай.

Девочка убегает, шлёпая лаптями. В избе становится тихо.

— Ты странная, — говорит Радосвета. — Не как наши ведуньи. Ты не читаешь заговоры, не травишь травами. Ты просто смотришь и говоришь — делай то, делай это. И помогает.

— Потому что я знаю, как работает тело, — отвечаю. — Кровь, кости, лёгкие. Это не магия. Это физиология.

— Физио... чего?

— Наука о том, как мы живём. Без чудес.

— Но серебро светилось, — она смотрит на меня в упор. — Это не наука. Это Жива.

Не могу спорить. Серебро действительно светилось. И рана затянулась за минуту. Может, здесь наука и магия — одно и то же. Просто я не знаю законов.

— Может быть, — соглашаюсь. — Я ещё не поняла.

Вечереет. За окнами темнеет, воздух становится синим. Радосвета зажигает лучину, вставляет в железный светец. Свет жёлтый, коптящий, отбрасывает пляшущие тени на стены.

— Сегодня к ужину будет мясо, — говорит она. — Охотник прислал в благодарность. Ты его спасла — он тебя кормит.

— А Велеслав? Он будет на ужине?

— Он редко приходит в святилище. Предпочитает лес. Но сегодня может прийти — ты новенькая.

— Он и вчера пришёл, когда волк напал.

— Он всегда приходит, когда опасность, — Радосвета ста-

вит на стол глиняную миску с мясом. Запах — дым, чеснок, дичь. В моём мире я не ела дичь — только курицу и говядину из супермаркета. Здесь мясо пахнет лесом и свободой.

Едим молча. Радосвета жуёт медленно, беззубыми дёснами — у неё почти нет зубов, только два жёлтых клыка. Я жую тоже медленно — непривычные челюсти, слабые, мышцы болят. Тело Зимни недоедало, и теперь каждый кусок — испытание.

— Ты должна набрать вес, — говорю ей. — И зубы вставить. Без зубов плохо пережёвываешь — желудок страдает.

— Зубы? — она смеётся. — Где я возьму зубы?

— У кузнеца. Деревянные, железные. В моём мире делают керамические. Но здесь — можно деревянные.

— Ты чудная, — она качает головой. — Забавная чудная.

Ужин заканчивается. Радосвета убирает миски, я сижу у печи, смотрю на огонь. Пламя лижет дрова, стреляет смолой, пахнет берёзой и уютом. Вспоминаю свою квартиру в Москве — пустые стены, холодильник с засохшей едой, тишину. Там я была одна. Здесь — тоже одна, но другая. Здесь меня видят. Здесь я нужна.

В дверь стучат. Не входят — стучат костяшками по дереву, ждут.

— Войдите, — говорит Радосвета.

Дверь открывается. На пороге — Велеслав.

Огромный, как вчера. Светлые волосы спутаны, падают на лицо. Глаза серые, тяжёлые, смотрят прямо на меня. Левая

рука отсутствует — культия перемотана кожей, повязка свежая, белая. На правой руке — татуировка, синий обережный круг на тыльной стороне ладони.

— Жива, — говорит. Не вопрос — констатация.

— Жива, — отвечаю. Голос металлический, хриплый.

Он входит, садится на лавку напротив. Смотрит долго, не мигая. Я смотрю в ответ. Внутри — страх, холодный, липкий. Но я врач. Я не боюсь пациентов.

— Ты вчера говорила, — он наклоняет голову. — Теперь всегда можешь говорить?

— Только с кружкой, — показываю на глиняную кружку.

— Пока взвар тёплый — голос есть. Остынет — снова нема.

— Странная, — он кривит угол рта. Полуулыбка, не добрая, но и не злая. — Ты всегда была странной. Но раньше хотя бы молчала.

— А теперь буду говорить, — отвечаю. — Много. Громко. Тебе придётся слушать.

Радосвета кашляет, прячет улыбку. Велеслав хмурится.

— Ты должна есть, — говорит он, глядя на мою тарелку.

— Ты худая. В лесу мясо есть. Принесу завтра.

— Приноси, — соглашаюсь. — Мясо полезно. Железо, белок. Только не сырое. Жареное или варёное.

— Ты странная, — повторяет он.

Встаёт, идёт к двери. Остановливается на пороге, не оборачиваясь.

— Завтра приду, — говорит. — Посмотрю, как ты.

— Приходи, — говорю в спину. — Я покажу тебе новую повязку для культи. Та, что я сделала, лучше старой.

Он молчит минуту. Потом уходит, не попрощавшись.

Дверь закрывается. В избе становится теплее.

— Он будет приходить, — говорит Радосвета. — Часто. Он не признается, но ты ему нужна.

— Как пациент, — уточняю. — Я его лечила.

— Как ты скажешь, — она усмехается.

Ложусь спать. Сено шуршит, печь потрескивает. За окном воет ветер. Думаю о Москве, о Ленке, о тарзанке. Думаю о том, что завтра будет новый день, новые пациенты, и, наверное, снова придёт этот хмурый однорукий княжич.

Первый полный день в новом мире. Я не сломалась. Я лечила. Я говорила. Я — жива.

Глава 3. Первая кровь

Утро начинается с того, что я слышу шаги за дверью. Не Радосвету — её походку я уже узнаю, шаркающую, с паузой, — а лёгкие, быстрые, детские. Милава. Девочка заглядывает в горницу, щербато улыбается, в руках кружка с взваром — пар идёт, глина тёплая.

— Ты проснулась, — шепчет. — Я тебе принесла. Мать Радосвета сказала, что без этого ты говорить не можешь.

Сажусь на лежанке, кутаюсь в тулуп. Беру кружку, пальцы обхватывают шершавую глину. Пью. Мёд, мята, душица. Горло оттаивает, и металлический голос возвращается — скрежещущий, чужой, но мой.

— Спасибо, — говорю хрипло. — Как отец?

— Ходит уже, — Милава сияет. — Нога почти не болит. Он сказал, что ты колдунья. А Мать Радосвета сказала, что ты не колдунья, а лекарь.

— Она права, — киваю. — Я врач.

Девочка смотрит на меня с восхищением и страхом. В её серо-голубых глазах — любопытство, которое сильнее страха. В Москве дети боялись врачей в белых халатах. Здесь боятся по-другому — боятся магии, боятся проклятий, боятся неизвестного. Но Милава уже тянется, уже доверяет.

— А ты правда из другого мира? — выпаливает она.

Внутри — холодок. Радосвета рассказывала? Или девочка

сама догадалась?

— Правда, — говорю тихо. — Только никому не говори. Ладно? Это наша тайна.

— Ладно, — она кивает серьёзно, по-взрослому. — Я умею хранить тайны.

Убегает, шлёпая лаптями. Я остаюсь одна, пью взвар маленькими глотками, думаю о том, что сказала Радосвета вчера: «Ты упала в это тело, когда Зимня умерла. Как будто кто-то позвал. Как будто нить дёрнулась».

Нить. Железная нить. Вспоминаю тарзанку — стальной трос, белая полоска краски через каждые десять сантиметров. Верёвка, которая оборвалась. Меня позвали? Зачем? Кто?

Не успеваю додумать — Радосвета входит, шаркая лаптями. В руках миска с кашей.

— Ешь, — говорит. — Сегодня много работы. Слух о тебе разошёлся.

— Какой слух?

— О немой целительнице, — она усмехается. — Люди идут. Охотник твой уже всем рассказал.

Ем кашу. Пшённую, с тыквой, пресную. Добавляю соли из солонки-уточка, крупной, серой. Кристаллы скрипят на зубах — непривычно после мелкой йодированной соли из супермаркета. В Москве я не задумывалась о том, какая соль на вкус. Здесь это имеет значение.

После завтрака пробую говорить без кружки. Открываю

рот — из горла вырывается только сип, как у пациента с отёком лёгких, когда воздух проходит через суженные дыхательные пути. Бесполезно. Беру кружку, отпиваю.

— Почему я не могу говорить без тепла? — спрашиваю Радосвету.

Она сидит на лавке, перебирает сухие травы.

— Тебя запечатали в детстве, — пожимает плечами. — Не я, не спрашивай кто. Голос вернётся, когда рядом будет тот, кто согреет изнутри. Не взваром — душой.

— Кто согреет?

— Не знаю, — она усмехается. — Может, любовь. Может, страх.

Выхожу на площадь. Холодно, ветер северный, колючий, забирается под тулуп. Небо серое, низкое, давит на макушку. В Москве в это время ещё тепло, листья жёлтые, люди в куртках. Здесь будто ноябрь, и я понимаю, что настоящая зима будет страшной.

Люди уже собрались — четверо, с детьми, с больными. Стоят у колодца, перешёптываются, косятся на меня. Взгляды — от испуганных до надеющихся. Женщина с девочкой — у той палец распух, красный, гноится. Мужчина с клюкой — колено опухшее, горячее. Старуха с кашлем — дышит тяжело, с хрипом. И ещё один — молодой парень, рука в тряпиче, запёкшейся кровью.

— Заходите, — говорю. — По одному.

Изба Радосветы превращается в приёмный покой. Сажусь

за стол, ставлю перед собой кружку с горячим взваром — голос нужен будет долго. Рядом раскладываю инструменты: ножи (нашла Радосвета в сундуке, тупые, но острые, с деревянными ручками), серебряные нити (тонкие, блестят молочным светом), иглы костяные (для вышивки, неудобные, но сгодятся), мёд в плошке, чистые тряпицы.

— Кто первый?

Женщина с девочкой подходит, садится на лавку. Девочка лет пяти, худая, бледная, глаза красные от слёз, дышит часто — испуг и боль. Палец распух, кожа багровая, почти фиолетовая, гной под ногтем просвечивает жёлтым, пульсирует. В моём мире — панариций, антибиотики, вскрытие, дренаж. Здесь — только нож и серебро.

— Упала, — шепчет женщина, гладит дочь по голове дрожащей рукой. — Колола дрова, топором пальчик. Уже три дня, не заживает. Лекари наши травы давали, заговоры читали — не помогает. Серебром прижигали — только хуже стало.

— Будет больно, — говорю девочке, смотрю прямо в глаза. — Очень больно. Но потом быстро пройдёт. Потерпишь? Девочка плачет, кивает. Женщина бледнеет.

Беру нож, проверяю лезвие пальцем. Острое — точила о камень с утра. Делаю надрез у края ногтя — быстрый, точный, как учили на первом курсе. Девочка кричит, дёргается, но женщина держит её за плечи, прижимает к себе.

Гной выходит — жёлтый, густой, с неприятным сладкова-

тым запахом. Выдавливаю аккуратно, надавливая от основания пальца к кончику. Промываю серебряной водой — лью из кружки тонкой струйкой. Серебро светится молочным, тусклым светом, тёплым, будто живым. Шипит, как на сковородку попало.

Рана затягивается на глазах — края становятся розовыми, чистыми, отёк спадает. Девочка перестаёт плакать. Смотрит на палец круглыми глазами.

— Не больно? — шепчет.

— Не больно, — мягко отвечаю. — Уже всё.

Накладываю повязку — льняную тряпицу, смоченную мёдом. Мёд липкий, тягучий, пахнет цветами и дымом.

— Через три дня снимите, — говорю женщине. — Если снова распухнет или поднимется жар — приходите сразу.

— Спасибо, ведунья, — женщина кланяется.

— Врач, — поправляю. — Я врач.

Следующий — мужчина с больным коленом. Лет пятидесяти, коренастый, руки в мозолях. Садится с трудом, вытягивает ногу. Колено опухшее, горячее, при движении хрустит — сухой, скрежещущий звук. Дегенеративное изменение хряща. В моём мире — операция, эндопротез. Здесь — только покой и серебро.

— Нужно меньше ходить, — говорю. — И прикладывать холод — лёд, снег. И серебряную воду пить, по глотку три раза в день.

— А травами? — он смотрит с надеждой.

— Травами боль сниму. — Беру сушёные травы из запасов Радосветы — крапиву, зверобой, кору ивы. — Заваривать как чай, пить два раза в день. И мазь из мёда и жира — втирать на ночь.

Мужчина благодарит, уходит. Старуха с кашлем — дыхание свистящее, хрипы в нижних отделах лёгких, влажные, крупнопузырчатые. Пневмония или хронический бронхит. Без стетоскопа сложно, но по звуку — что-то серьёзное.

— Серебряную воду пьёшь? — спрашиваю, щупая пульс — частый, сто десять, слабый.

— Пью, — она кашляет. — Не помогает.

— Продолжай. И мёд с хреном — отхаркивающее. И тепло — не вставай с лежанки.

Старуха уходит. Парень с раненой рукой — порезался ножом, глубоко, мышца затронута. Промываю серебром, накладываю швы. Парень терпит, только зубы сжимает.

Работаю до полудня. Семь человек. Руки устают, спина болит от неудобной позы. Но внутри — тепло. Я лечу. Я делаю то, для чего рождена. Даже в чужом мире, без антибиотиков, без МРТ, без операционной — я всё ещё врач.

Последний пациент уходит. Радосвета закрывает дверь, тяжело вздыхает.

— Устала?

— Нормально, — вытираю руки. — Но инструментов не хватает. Нужны тонкие иглы, хорошие ножи. И стетоскоп.

— Стето... что?

— Трубка для слушания лёгких и сердца. В моём мире есть. Здесь нужно придумать.

— Придумаешь, — она усмехается. — Ты умная.

После обеда небо начинает темнеть. Не постепенно, как к вечеру, а резко, будто кто-то накрыл солнце чёрным плащом. Ветер стихает, воздух становится плотным, тяжёлым, как перед грозой, только грозы здесь не бывает — только Стужа.

Радосвета крестится на свой византийский крест, встаёт с лавки.

— Стужа близко, — шепчет. — Не к добру. Сиди здесь, не выходи.

Звук приходит из темноты. Сначала — скрежет, как когти по дереву, по частоколу. Потом — рык, низкий, горловой, от которого закладывает уши, а по коже бегут мурашки. Я слышала такие звуки только в фильмах ужасов, когда в детстве смотрела «Чужого» под одеялом, пока бабушка спала в соседней комнате. Здесь это реально. И здесь это страшно, потому что нет телевизора, который можно выключить пультом.

— Сиди, — повторяет Радосвета, хватая клюку.

Но я уже не слушаю. Потому что за окном — крик. Детский, высокий, отчаянный. Милава.

Внутри — щелчок. Как выключатель. Страх исчезает. Остаётся холодная ярость, та самая, что в операционной, когда пациент на грани, а счёт идёт на секунды. Не думаю. Не раздумываю. Хватаю с земли первую попавшуюся тяжесть

— кочергу, железную, чёрную от копоти, стояла у печи. Выбегаю на крыльцо.

На площади — темнота. Только лучина у капища чадит жёлтым светом, выхватывая из тьмы краешек идола Белого Лося — белая глина отсвечивает синим, глаза-камни смотрят пусто. И среди теней — тварь.

Огромная, размером с крупного волка, но не волк. Шкура серая, как пепел, местами облезлая, видна синеватая кожа. Из пасти валит пар — холодный, густой, как из морозильной камеры. Глаза горят синим — ровным, немигающим, неживым светом. Заледеневший волк. Навья гончая. Я видела таких вчера только мельком, когда они напали на святилище. Вблизи они страшнее — от них веет холодом, который пробирает до костей, до самого нутра.

Милава стоит у колодца, замерла, не двигается. Глаза круглые, рот открыт, но звука нет — застыла от страха. В моём мире это называется реакция замирания. Мозг отключается, тело не слушается, человек превращается в статую. Если не помочь — тварь прыгнет, и всё. Я видела таких пациентов после аварий — они не кричат, не плачут, просто смотрят в одну точку и ждут смерти.

Не дождутся.

— Милава, ко мне! — кричу, бегу наперерез, заслоняя девочку. Голос срывается на хрип, но работает — ярость греет горло лучше любого взвара.

Девочка не двигается. Тварь скалит синие зубы, готовит-

ся к прыжку. В её глазах — не голод, не злоба. Холод. Абсолютный, мёртвый холод. Она не хочет есть — она хочет заморозить.

Бью кочергой по морде — со всей силы, как бью скальпелем в операционной, когда надо быстро и точно, чтобы пациент не истёк кровью. Кость хрустит под ударом — глухой, противный звук. Тварь воет, но не падает. Только отступает на шаг, мотает головой, из разбитой морды капает чёрная, как дёготь, кровь.

— Беги! — кричу Милаве. — В избу! Живо!

Девочка дёргается, будто от удара током, бежит к крыльцу, спотыкается на ровном месте, но не падает. Я отступаю следом, размахиваю кочергой, не даю твари приблизиться.

Тварь следит за мной, кружит. Синие глаза — холодные, умные. Она не просто зверь. В ней есть что-то от человека. Или от древнего зла, которое я не понимаю, но чувствую кожей. Она изучает меня, ищет слабое место. Я для неё — добыча, но не простая. Я та, кто посмел ударить.

Она прыгает.

Успеваю ударить — но недостаточно сильно. Когти впиваются в левое плечо, раздирают рубаху, кожу, мышцы. Боль — горячая, острая, как от скальпеля без наркоза, только в десять раз сильнее. Падаю на колено, но кочергу не выпускаю. Зубы стискиваю, чтобы не закричать. В Москве я училась терпеть боль — свои пациенты не должны видеть, что мне больно. Здесь тот же принцип.

Тварь заносит лапу для второго удара — сейчас достанет до лица, до шеи.

В этот момент — удар. Не мой. Кто-то огромный, в тёмной рубаше, вылетает из темноты, сшибает тварь с ног. Одной рукой — второй у него нет, культия прижата к груди — ломает хребет твари. Коротко, жестоко, профессионально. Позвонки хрустят, как сухие ветки. Тварь визжит — высоко, тонко, почти по-человечески — рассыпается инеем, обдавая меня холодом с головы до ног.

Велеслав.

Огромный, плечистый, занимает полнеба. Левая рука — культия, перемотана грязной кожей. Светлые волосы спутаны, падают на лицо. Глаза серые, холодные, как у той твари — только живые. Он смотрит на меня долго, не мигая. Сверху вниз, потому что я на коленях, а он стоит.

— Ты, — говорит. — Опять ты. Почему ты вечно лезешь туда, где умирают?

Пытаюсь ответить — горло сжимается, изо рта только сип, свист, хрип. Взвар вылился, кружка разбилась, когда я выбежала. Осколки валяются на крыльце. Я снова немая. Не могу объяснить, что там был ребёнок. Не могу сказать, что я врач и не умею сидеть сложа руки. Просто смотрю на него снизу вверх и молчу.

Он замечает рану на моём плече — рубаша разорвана от ворота до локтя, кровь течёт по руке, капает на землю, пахнет железом и теплом. Тёмная, венозная — артерия цела,

повезло. В Москве я бы наложила жгут выше раны, вызвала бригаду. Здесь — только его грубые руки и кусок рубахи.

— Дура, — говорит он без злобы. Констатирует факт.

Рвёт свою рубаху — льняную, серую, чистую — на поло-
сы. Грубо, но умело перевязывает моё плечо. Пальцы у него
грубые, с мозолями, но осторожные, почти нежные. Я смотрю
на его лицо — сосредоточенное, хмурое, на лбу складка,
желваки играют. Он не смотрит на меня — смотрит на рану,
на повязку, на то, как кровь останавливается.

— Не умирай, — говорит хрипло. — Ты мне ещё должна.
Твоё тело — моя собственность. Я тебя выкрал, я и отвечаю.

Собственность? Выкрал? Внутри — злость и страх попо-
лам. В Москве я бы вызвала полицию, написала заявление,
подала в суд за похищение и незаконное лишение свободы.
Здесь — молчу, потому что не могу говорить. И потому что
он только что спас мне жизнь. Во второй раз. Первый — ко-
гда украл, как он говорит, или спас, как говорит Радосвета.

Он поднимает меня на ноги — легко, будто я пушинка,
хотя это тело весит килограммов сорок пять, не больше. Ве-
дёт в избу, не выпуская моей здоровой руки. У крыльца обо-
рачивается, смотрит в темноту.

— Кровь останови, — командует Радосвете, которая уже
стоит в дверях с лучиной. — Я за воротами. Проверю, нет
ли других.

Уходит, не попрощавшись. Я сижу на лавке, прижимаю
здоровую руку к раненому плечу, смотрю на свои пальцы —

в крови, чужой и своей. Радосвета промывает рану серебряной водой. Серебро светится молочным, тёплым, шипит, как на сковородку попало. Боль отступает, но не уходит полностью — пульсирует где-то глубоко, в мышцах.

— Повезло тебе, — говорит она. — Когти глубоко, но кость цела. Заживёт. Если серебро не подведёт.

Киваю. Смотрю на дверь, куда ушёл Велеслав. На косяке — его рука оставила след, кровавый, чёткий.

— Он тебя спас, — Радосвета усмехается, обнажая беззубые дёсны. — Второй раз. Первый — когда украл из южного княжества. Второй — сейчас. Ты ему должна.

Не отвечаю. Потому что не могу.

Через час он возвращается. Садится на лавку напротив, смотрит на меня. Радосвета уходит в сени, оставляет нас вдвоём. В избе тихо, только печь потрескивает да лучины чадят, отбрасывая жёлтые блики.

— Ты немая, — говорит. — Я знал. Зимня всегда была немой. Но ты понимаешь меня. Кивай или мотай головой.

Киваю. Осторожно, чтобы не потревожить плечо.

— Ты не Зимня, — он наклоняет голову, и светлые пряди падают на лицо. — Зимня боялась. Зимня пряталась в углу, когда я приходил. А ты лезешь на тварей с кочергой, как бешеная. Кто ты?

Молчу. Не могу ответить.

— Ладно, — он встаёт, поправляет ремень. — Завтра приду. Принесу мясо. Ешь, поправляйся.

Уходит, не попрощавшись. Дверь закрывается, и в избе становится теплее — или это мне только кажется.

Радосвета возвращается, подкладывает дрова в печь.

— Ты упала в неё, когда Зимня умерла, — говорит она тихо, глядя на огонь. — Как будто кто-то позвал. Как будто нить дёрнулась. Железная нить. Портал.

Нить. Железная нить. Вспоминаю тарзанку. Стальной трос, блестящий, многожильный. Белая полоска краски через каждые десять сантиметров. Кто-то дёрнул за этот трос, и я упала сюда. Не случайно. Зачем?

Плечо болит, повязка набухла кровью, но серебро сделало своё дело — рана чистая, края розовые, не гноятся. В Москве я бы назначила себе антибиотики и перевязки. Здесь — только серебро и покой. И ещё этот странный, хмурый человек, который называет меня своей собственностью, но смотрит так, будто я — единственное живое в его мёртвом мире.

Утром на столике у лежанки стоит цветок. Живокость, синяя, свежая, с каплями росы. Стебель срезан неровно — детской рукой. Рядом — записка на бересте детским почерком, корявыми буквами: «Спасибо, что спасла. Милава».

Сжимаю цветок в пальцах, вдыхаю запах — горьковатый, травяной, с лёгкой сладостью. В Москве я не получала цветов от пациентов. Только официальные благодарности в приказе, сухие, формальные. И открытки к Новому году — с подписью «коллектив отделения». Здесь — живая девочка

принесла мне цветок. Потому что я спасла её. Не за деньги, не за премию, не за благодарность в приказе. Просто потому что не могла иначе.

Первый раз за долгое время я чувствую, что не зря здесь оказалась. Не зря я врач. Не зря я прыгнула с той тарзанки.

Глава 4. Собственность

После вчерашнего я почти не сплю. Плечо болит — когти твари разодрали мышцы глубже, чем казалось сначала. Повязка набухла сукровицей, но серебро сделало своё дело: края раны розовые, чистые, без гноя. В Москве я бы назначила себе антибиотики, перевязки с левомеколем и ушла на больничный. Здесь — только тишина, потрескивание печи и мысли, которые не дают уснуть. Мысли о нём. О Велеславе.

О том, как он сломал хребет твари одной рукой — коротко, жестоко, без колебаний. О том, как перевязывал моё плечо — грубо, но осторожно, пальцы дрожали, хотя лицо оставалось спокойным. О том, что он сказал: «Ты мне ещё должна. Твоё тело — моя собственность. Я тебя выкрал, я и отвечаю». Собственность. Выкрал. В Москве я бы вызвала полицию, написала заявление, подала в суд за похищение и незаконное лишение свободы. Здесь — молчу, потому что он спас мне жизнь. И потому что без него я бы не выжила.

Радосвета встаёт затемно, гремит горшками в сенях. Я сижу на лежанке, смотрю на свои руки — чужие, длиннопалые, с мозолями на подушечках от непривычной работы. Сегодня я должна получить ответы. Не могу больше жить в неведении, гадать, почему этот хмурый однорукий княжич таскает меня за собой два года и называет своей вещью.

Когда она входит с миской каши, я беру кружку с взваром

— глина тёплая, шершавая, привычная — и делаю большой глоток. Мёд, мята, душица. Горло оттаивает, голос возвращается, металлический, скрежещущий.

— Расскажи о нём, — говорю твёрдо. — О Велеславе. Всё, что знаешь. Зачем он меня украл? Почему называет своей собственностью? Почему два года живёт в лесу, а я здесь?

Радосвета садится напротив, поправляет повязку на глазу. Единственный глаз смотрит на меня долго, изучающе, как рентгеновский снимок.

— Зимню сосватали за него, когда ей было пять, ему двенадцать, — говорит она не спеша, перебирая сухие травы в плошке. — Дети не виделись. Обычное дело — князя договариваются, детей женят, чтобы родню не резать. Никто не спрашивал ни её, ни его. Зимня была немой, проклятой — кому какое дело до её желаний?

— И что дальше? — спрашиваю, хотя внутри уже всё сжимается в ком.

— Через десять лет Велеслав стал изгнанником. История долгая, не моя, — она отмахивается узловатой рукой. — Но перед уходом из южного княжества он забрал Зимню с собой. Сказал, что спасает от жертвоприношения.

— Жертвоприношения? — переспрашиваю. В Москве я слышала это слово только в исторических книгах и фильмах ужасов. Здесь оно звучит иначе — твёрдо, обыденно, как «операция» или «реанимация».

— Её хотели принести в жертву Перуну, — Радосвета кре-

ститися на свой византийский крест. — Кровь Зимни — особенная. Она — дитя метели, рождённая в метель, когда грань между мирами тонкая. Таких используют в обрядах, чтобы остановить Стужу. Велеслав не позволил. Он сказал: «Я уже видел смерть. Не хочу видеть ещё одну».

Дитя метели. Мост между мирами. Я слышала это уже — от неё, от него. Вспоминаю тарзанку, стальной трос, вспышку, лица. Женщина в белом платке. Мужчина с бородой. Девочка с косами. Может, поэтому меня закинуло именно в это тело. Потому что Зимня — проводник. А я — та, кто пришёл по зову. Та, кто нужна здесь.

— Два года они живут на Севере, — продолжает Радосвета, подкладывая дрова в печь. — Он в лесу, в землянке, которую сам вырыл в склоне оврага. Она здесь, в святилище. Он не прикасался к тебе. Ни разу.

— Почему? — спрашиваю. Внутри — странное чувство. Облегчение? Разочарование? Не разберу. В Москве у меня не было мужчин, которых я боялась или ждала. Только пациенты, коллеги, случайные знакомства, которые ничем не заканчивались.

— Говорит, что ты — обуза, но не бросает, — она усмехается, обнажая беззубые дёсны. — Станный человек. Мог бы оставить здесь одну — не убежала бы. Куда бежать? Кругом лес, Стужа, твари. Но приходит, проверяет, жива ли. Приносит мясо, дрова, рыбу. Два года таскает тебя за собой, как котёнка. И не трогает.

— Может, он не интересуется женщинами? — предполагаю, хотя сама не верю. В его взгляде, когда он смотрел на меня вчера, было что-то, что не вяжется с равнодушием.

— Интересуется, — Радосвета качает головой. — Просто боится. Он считает себя проклятым. Боится, что Стужа придёт за тобой, если он будет рядом. Или что он сам притянет её своей болью. Он думает, что он — магнит для холода. Что всё, к чему он прикасается, замерзает.

Болью. Я видела эту боль вчера, когда он рассказывал о невесте. В том, как отвернулся, как напряглись плечи, как культия дёрнулась — нервный жест, который он не может контролировать. В его голосе, глухом, как подземный камень. В глазах, которые смотрели в огонь, но видели что-то другое — ледяную статую, которую он не смог спасти.

— Он говорил о Милане, — тихо говорю, глядя на свои руки. — О своей невесте. О том, как Стужа заморозила её в день свадьбы.

— Значит, доверяет, — Радосвета кивает, и седые пряди выбиваются из пучка. — Он никому не рассказывает о ней. Даже мне. Ты первая. За два года — первая, кому он открылся.

Не знаю, что на это ответить. Внутри — тепло, которое не связано ни с печью, ни со взваром. Странное, пугающее тепло. В Москве я не была никому нужна. Пациенты благодарили, коллеги уважали, но никто не доверял мне свою боль. А здесь — этот хмурый, однорукий, проклятый княжич рас-

сказал мне о самом страшном дне своей жизни. Потому что я спросила. Потому что он поверил.

Допиваю взвар, встаю. Иду к кадке с водой — мою руки, долго, тщательно, с щёлоком. Вода холодная, обжигает пальцы, но я не вздрагиваю — привыкла. В Москве я мыла руки перед каждой операцией двадцать минут, до скрипа, до трещин на костяшках. Антисептик пах спиртом и хлоргексидином, сушил кожу. Здесь — щёлок из золы, жирный, без запаха. Грязь отходит с трудом — въелась в кожу за годы работы по хозяйству. Но я тру, между пальцами, под ногтями, потому что чистота здесь — единственная защита от заражения.

Выхожу на площадь. Ветер северный, колючий, пахнет снегом — хотя снега ещё нет, только сухая, промёрзшая земля. Небо серое, низкое, давит на макушку. Люди уже ждут — трое, с больными, с детьми. Женщина с ожогом на руке — кипятком облилась. Мужчина с больной спиной — старый радикулит, наверное. Девочка с ангиной — горло красное, гнойные пробки на миндалинах.

Принимаю их молча, жестами, потому что взвар остыл, а новый не успела заварить. Руки работают сами — промывают, перевязывают, накладывают швы. Женщине с ожогом — серебряная вода и мёд. Мужчине — настой коры ивы и покой. Девочке — полоскание солью и серебром.

К полудню всё заканчивается. Люди уходят, благодарят кланяясь. Я возвращаюсь в избу. Радосвета топит печь заново — к вечеру будет холодно, северное сияние обещает мо-

роз.

— Велеслав придёт сегодня? — спрашиваю, садясь на лавку.

— Придёт, — она усмехается, помешивая в горшке. — Он всегда приходит, когда ты работаешь. Стоит за частоколом, смотрит. Следит, чтобы никто не обидел.

— Следит за мной? — уточняю, хотя уже знаю ответ.

— Оберегает, — поправляет она. — Для него это разное.

Вечером, когда уже темнеет и за окном загорается северное сияние — зелёное, размытое, текучее, как краска по воде, — слышу шаги за дверью. Тяжёлые, уверенные, с глухим стуком сапог по земляному полу в сенях. Сердце пропускает удар — и снова бьётся ровно, как метроном.

Входит Велеслав. Бросает на стол тушку зайца — свежую, ещё тёплую, шкурка мягкая, серая, глаза стеклянные. Садится на лавку напротив, смотрит на меня. Молчит. Я смотрю на него. В избе тихо, только печь потрескивает да лучины чадят, отбрасывая жёлтые блики на стены.

Он крупный — даже на лавке сидит, как скала. Плечи широкие, рубаха натянута на груди. Волосы светлые, почти белые, спутанные, падают на лицо — никогда не расчёсывает, наверное. Глаза серые, усталые, с тёмными кругами — не спит. Левая рука — культя, перемотана старой, грязной кожей. Правая — сильная, с татуировкой на тыльной стороне ладони, синий бережный круг.

Пытаюсь спросить жестами — показываю на него, потом

на себя, потом на дверь. «Зачем ты меня украл?» Руки дрожат — не от страха, от волнения. В Москве я умела говорить с пациентами, объяснять сложные вещи простыми словами. Здесь — только жесты и взгляды.

Он понимает без слов. Смотрит на огонь в печи, молчит минуту. Потом отвечает, голос низкий, глухой, как подземный камень:

— Тебя хотели принести в жертву Перуну. Твоя кровь — особенная. Ты — дитя метели, а метель — это мост между мирами. Я не хотел, чтобы тебя убили. Вот и всё.

— Почему ты? — спрашиваю вслух. Голос металлический, скрежещущий, но разборчивый. — Почему не кто-то другой? Ты же изгнанник. Тебе какое дело до чужой девушки?

— Потому что я уже видел смерть, — он пожимает плечами, и культия дёргается — нервный жест, который он не может контролировать. — Не хотел видеть ещё одну. Особенно — невинную. Особенно — такую же, как она.

Молчу. Смотрю на его культию — левая рука отсутствует чуть выше локтя, повязка старая, серая, пропиталась потом и грязью. Шрамы на лице — три параллельные полосы от когтей, старые, белые, почти незаметные в полумраке. Нос с горбинкой — сломан в юности, неправильно сросся. Дышит, наверное, с трудом, особенно в холод.

Показываю на культию. «Как это случилось?» Жест короткий, понятный — рука, потом отсекающее движение. Он

сжимает правую руку в кулак, желваки ходят на скулах. Отворачивается к окну — плечи напряжены, спина сутулая, будто ему тяжело сидеть прямо.

— Стужа, — говорит. — Я пытался её остановить. Она забрала руку. И невесту.

— Невесту? — переспрашиваю, хотя уже знаю. Мне нужно, чтобы он сам сказал. Чтобы услышать это из его уст, не от Радосветы, не от чужих людей.

— Милана, — он смотрит в окно, но я вижу — он не видит ни неба, ни сосен, ни зелёного сияния. Он там, десять лет назад. В день своей свадьбы. — Она была моей невестой. Любили друг друга с детства. В день свадьбы пришла Стужа. Милана выбежала навстречу, чтобы защитить меня. Крикнула: «Уходи, я задержу». Глупая, смелая, безумная женщина. Стужа заморозила её заживо. Я пытался отбить, рубил лёд топором. Стужа забрала мою руку и её жизнь.

Он замолкает. В избе тихо — только печь потрескивает да лучины чадят. Я смотрю на него. На его спину — широкую, но сутулую, с проступающими лопатками. На шрамы, которые просвечивают сквозь рубаху — старые, белые полосы, рубцы от плетей. На культю, которую он прижимает к груди, как будто она всё ещё болит, как будто он всё ещё чувствует ту руку, которой нет.

Внутри — не жалость. Он не из тех, кого можно жалеть. Он не сломленный, нет — он закалённый. Десять лет одиночества, боли, борьбы. Он не сдался. Он выжил. Понимание.

Я тоже теряла. Бабушку, которая умерла у меня на руках от рака поджелудочной, когда я была на первом курсе. Я тогда ничего не умела, даже обезболивающее не могла подобрать правильно. Сидела у её кровати, держала за руку, и чувствовала, как тепло уходит. Как пульс становится слабее, реже, пока не останавливается совсем.

И пациентов, которых не смогла спасти. Мальчика двенадцати лет, сбитого мотоциклистом — его я вспоминала на мосту, перед прыжком. Женщину с сепсисом, которую привезли слишком поздно. Старика с инфарктом, который умер на столе, когда я уже зашивала. Каждый раз — чувство вины, которое не уходит. Оно живёт где-то под рёбрами, напоминает о себе по ночам, когда не можешь уснуть.

Встаю, подхожу к нему. Беру его культию — осторожно, пальцами, как беру руку пациента перед осмотром. Он вздрагивает, но не отдёргивает. Только смотрит на меня сверху вниз — настороженно, как зверь, который не понимает, чего от него хотят. Глаза серые, тяжёлые, но в них мелькает что-то живое. Любопытство? Надежда?

Осматриваю рубец. Старый, бугристый, неправильный — кость внутри срослась криво, я чувствую это пальцами. Она давит на нерв, на мышцы. В Москве я видела такие после неудачных ампутаций. Пациенты жаловались на боль, на онемение, на то, что рука «стреляет» при перемене погоды, при подъёме тяжестей, при усталости. Здесь никто не жаловался — просто терпели. Годами. Десять лет.

— У тебя внутри костный нарост, — говорю, не отпуская его культю. — Осколки кости, которые срослись неправильно. Они давят на нерв. Поэтому болит. Поэтому рука стреляет, когда ты устаёшь или мёрзнешь.

Он смотрит на меня недоверчиво, исподлобья. Серые глаза сужаются.

— Откуда знаешь? — спрашивает хрипло.

— Я врач, — пожимаю плечами. — Я видела такое. В моём мире мы делаем операцию, убираем лишнюю кость, подшиваем мышцы. Боль уходит. Полностью. Навсегда.

Показываю жестами: режу, убираю, зашиваю. Потом показываю на него, потом на себя. «Нужно резать. Я могу убрать боль».

Он смотрит долго, не мигая. Потом переводит взгляд на мои руки — на пальцы, которые только что ощупывали его культю. На мозоли, на ссадины, на длинные, тонкие пальцы, которые умеют держать скальпель — или нож.

— Ты — лекарь? — спрашивает. — Откуда ты взялась, немая?

Не отвечаю. Иду к столу, беру нож — тот самый, которым вчера резала панариций девочке и сегодня промывала рану женщине. Проверяю лезвие пальцем. Остро — точила о камень с утра, мелкозернистый песчаник, даёт хорошую кромку. Достая серебряные нити из кисета на поясе, кладу рядом. Иглы костяные — для вышивки, неудобные, тупые, но других нет. Мёд в плошке — липкий, тёплый, пахнет цвета-

ми. Чистые тряпицы, которые сама нарезала и прокипятила в воде.

Он смотрит на мои приготовления, и в его глазах — не страх, не сомнение. Тяжёлое, долгое раздумье. Он взвешивает что-то, о чём я не знаю.

— Ты серьёзно? — спрашивает.

Киваю. Внутри — страх, холодный, липкий, как адреналин перед сложной операцией. Я не оперировала без наркоза, без ассистента, без нормального освещения, без антибиотиков. Я не оперировала в чужом теле, чужими руками, под угрозой, что пациент дёрнется или умрёт от болевого шока. Но я врач. Я не имею права бояться. Пациент не должен видеть страха. Это первое правило, которое я выучила на первом курсе.

— Будет больно, — предупреждаю. — Очень больно. Я без наркоза, но буду быстро. Ты должен лежать смирно. Если дёрнешься — могу повредить сосуд, и ты умрёшь от кровопотери. Зажми в зубах ремень.

Он садится на лавку, протягивает культю. Правой рукой берёт с лавки сыромятный ремень, закусывает. Лицо спокойное, только на лбу выступает пот, и вены на шее вздуваются.

— Делай, — мычит сквозь ремень. — Всё равно хуже не будет.

Беру нож. Руки не дрожат — только внутри колотится сердце, как бешеное, где-то в горле. Первая операция в новом мире. Не на муляже, не на трупе. На живом человеке,

который смотрит мне в глаза и доверяет. Который назвал меня своей собственностью — и доверил свою боль.

За окном зелёное сияние разливается по небу, пульсирует, как живое сердце. Лучины горят ровно, света достаточно. Радосвета стоит в дверях, готовая подать всё, что нужно.

— Режь, — шепчет она. — Не бойся.

Я не боюсь. Я врач.

В Москве я сделала тысячи разрезов. Под наркозом, с ассистентами, с мониторами, которые пищат, с запасной бригадой на случай кровотечения. Здесь — только нож, его дыхание и мои чужие пальцы, которые ещё не привыкли к этому телу. Ошибиться нельзя. Он умрёт — и я останусь одна. Без него, без его хмурого взгляда, без того, как он сказал «ты мне ещё должна». Без тепла, которое он дарит просто тем, что сидит напротив. Страх сжимает горло, но я не могу остановиться. Я не имею права. Ни перед ним. Ни перед собой.

Первый разрез.

Глава 5. Скальпель и серебро.

Первый разрез. Нож входит в кожу — легко, потому что лезвие острое, и тяжело, потому что пальцы дрожат. Не от страха — от напряжения. Кровь выступает сразу, тёмная, венозная, но не фонтанирует — артерии целы. Я делаю надрез вдоль старого рубца, как учили на курсах повторных операций в ординатуре. Убираю старые швы — серебряные нити, которые накладывала не я, а кто-то другой много лет назад. Они уже вросли в кожу, приходится поддевать кончиком ножа, тянуть, разрезать. Каждая нить выходит с влажным щелчком, и Велеслав вздрагивает, но не останавливает меня.

Радосвета подготовила всё, как я просила. Вода в котелке кипит, пар клубится, оседает на потолке. Ножи и иглы лежат на чистой тряпице — я прокипятила их дважды, чтобы убить всё, что можно убить. В моём мире стерилизация — это автоклав, температура под давлением, индикаторы стерильности. Здесь — кипяток и вера в то, что серебро добьёт остальное. Светцы с лучинами расставлены по всей избе — четыре штуки, дают жёлтый, коптящий свет, но я просила больше. Радосвета принесла ещё два из соседней избы. Теперь в избе светло, как в операционной — только ламп нет, и тени пляшут по стенам, мешаясь под руками.

Велеслав не кричит. Только сжимает правую руку в кулак

так, что костяшки белеют, а ремень в зубах хрустит. Пот каплет по его лицу — крупными каплями по лбу, по вискам, по щекам, капает на рубаху, на лавку, на пол. Но он не двигается. Даже мышцы не напрягает — только желваки ходят на скулах, и вены вздуваются на шее, вздуваются и пульсируют, как живые нити под тонкой кожей. В Москве пациенты под наркозом не чувствуют боли. Здесь наркоза нет — только его железная воля и мой страх ошибиться.

— Терпи, — говорю тихо, сама не зная зачем. — Я быстро. Ещё немного. Почти готова.

Он смотрит на меня. Серые глаза — спокойные, без паники, без страха. Он доверяет. Это страшнее любой боли — чужое доверие, когда ты держишь нож над его живым телом, когда одно неверное движение может оборвать всё. В Москве пациенты доверяли мне, потому что за мной стояли годы учёбы, дипломы, регалии, белый халат, который внушает уважение. Здесь — только мои руки, грязная рубаха и его вера в то, что я знаю, что делаю. Я не имею права её обмануть.

Пальцы сами находят костный нарост — твёрдый, бугристый, неправильной формы, как нарост на старом дереве, как корка на застарелой ране. Он врос в мышцы, давит на нервное окончание, которое тянется от культи к плечу, к позвоночнику, к мозгу. В моём мире я бы использовала распатор, костную пилу, кровоостанавливающие зажимы, электрокоагулятор. Здесь — только нож и серебряные нити. Радосвета

подаёт мне тряпицу, вытираю кровь, чтобы видеть, что делаю. Кровь идёт, но не сильно — серебро запекает мелкие сосуды, останавливает их, как коагулятор в операционной, только медленнее и менее надёжно.

— Держи свет ближе, — командую ей. — Не шевелись. Я не могу ошибиться, не имею права.

Старуха подносит светец с лучиной почти к самой ране. Жёлтый свет коптит, пахнет дымом, чадит, щиплет глаза, но видно лучше — я различаю каждый слой мышц, каждый сантиметр кости. Углубляю разрез, обнажаю кость. Она серая, матовая, с тёмными прожилками — старая, больная кость, которая десять лет мучила его. Я вижу нарост отчётливо — он выступает над поверхностью кости, как шип, как заноза, которую нельзя вытащить без ножа.

— Серебро, — говорю, и Радосвета подаёт кружку с серебряной водой.

Промываю рану — серебро светится молочным, тёплым, шипит, вступая в реакцию с кровью. Велеслав вздрагивает, дёргается, но молчит. Только ремень скрипит на зубах, и я слышу, как скрип переходит в треск — он перегрызает кожу, прокусил уже, наверное, губу в кровь, но не издаёт ни звука. Только тяжело дышит — шумно, с хрипом.

Теперь самое трудное. Нужно отделить костный нарост от здоровой кости. В Москве я делала это специальным долотом — осторожно, выверенно, по миллиметру, с ассистентом, который держал отсос и зажимы. Здесь — ножом. Беру

глубокий вдох, прицеливаюсь, представляю, что это не живая кость, а муляж из ординатуры, где можно ошибаться и переделывать. Пальцы не дрожат — замерли в ожидании команды от мозга, который работает на пределе.

— Не дёргайся, — предупреждаю шёпотом. — Сейчас будет больше всего. Держись. Я быстро. Обещаю.

Он не отвечает. Только закрывает глаза. Глубоко вздыхает — грудью, животом, всем телом — и замирает. Я чувствую, как он напрягся, как каждая мышца превратилась в камень, как кровь быстрее побежала по венам, разгоняя адреналин. Но он не дёргается. Даже пальцы на правой руке не шевелятся.

Я режу. Кость поддаётся с хрустом — противный звук, от которого мурашки бегут по спине, волосы встают дыбом, а внутри всё переворачивается, как при виде открытого перелома. В Москве я привыкла к звукам пилы и дрели, но там они были механическими, безжизненными. Здесь — живая кость, живой хруст, живая боль. Велеслав стонет — первый звук, который он издал за всю операцию, глухой, сдавленный, как звериный рык. Но не двигается. Даже веки не дрогнули. Только желваки ходят быстрее.

Отсекаю нарост, вынимаю его пинцетом — самодельным, из согнутой серебряной нити, которую Радосвета держала в огне, чтобы обеззаразить. Кладу на тряпицу — кусочек кости размером с лесной орех, шершавый, белый, с красными прожилками крови. Смотрю на него и думаю: десять лет эта

кость давила на нерв. Десять лет он терпел боль. И никто не помог. Ни один знахарь, ни один ведун, ни один кузнец, который «правит кости». А я, чужая из другого мира, взяла нож и сделала.

— Готово, — выдыхаю, чувствуя, как пот течёт по лицу, заливая глаза, щиплет. — Самое страшное позади. Теперь только промыть и зашить.

Промываю рану снова. Серебро светится ярче — теперь, когда источник боли удалён, магия работает быстрее, активнее, как будто рана сама тянется к серебру, как будто Жива радуется освобождённому месту. Края раны начинают затягиваться, но я не даю им сомкнуться — нужно подшить мышцы, иначе будет грыжа, и всё придётся переделывать заново. А второй раз он может не выдержать.

Беру иглу — костяную, тонкую, заточенную о камень до остроты, с серебряной нитью, которую я с вечера прокипятила в мёде. Вдеваю нить в ушко с третьей попытки — пальцы скользкие от крови, потные от напряжения, дрожат мелкой дрожью. Накладываю швы на мышцы — мелкие, частые, как учили в ординатуре, на курсах хирургии кисти, где профессор говорил: «Каждый шов — это судьба пациента. Небрежность убьёт». Каждый стежок — усилие, потому что игла тупая, а нить тонкая и рвётся, если слишком сильно тянуть. Но я справляюсь. Пальцы помнят, как это делается, даже если инструменты из другого века, даже если свет коптит, даже если пациент — огромный мужчина с железной выдержкой,

который может в любой момент потерять сознание от боли.

Велеслав открывает глаза. Смотрит на меня — не на свою руку, не на рану, не на кровь, а на моё лицо. В его взгляде — вопрос. Немой, тяжёлый, как камень на дне реки, как тот самый нарост, который я только что вырезала.

«Кто ты?» — одними губами, без звука. Я читаю по губам — в операционной это полезный навык, когда все в масках и шапочках, и слышно только писк мониторов.

Не отвечаю. Не могу. Взвар остыл, горло сжалось в тугой узел, голос пропал, остался только сип, как у пациента с отёком лёгких. Да и не о чем говорить. Я — врач. Это всё, что ему нужно знать. Всё, что я могу ему дать.

Заканчиваю с мышцами, перехожу к коже. Накладываю наружные швы — аккуратно, ровно, чтобы рубец был тоньше, чтобы не давил на новые ткани, чтобы не пришлось резать снова через год. Серебряная нить ложится красиво, светится тускло, ровно, как гирлянда на ёлке — только ёлок здесь нет, только печь, дым и северное сияние за окном. Каждый стежок — как маленькая молитва. Не богам — своему мастерству.

— Всё, — говорю шёпотом — последним остатком тепла, которое ещё держится в горле. — Закончила. Не дёргайся, сейчас повязку наложу.

Велеслав выплёвывает ремень. На губах — кровь, прокусил в двух местах, нижняя губа распухла. Но он даже не морщится. Только смотрит на меня.

— Спасибо, — шепчет хрипло. — Не уходи.

Не отвечаю. Беру чистую тряпицу, смоченную серебряной водой, накладываю на рану. Сверху — слой мёда, липкого, тёплого, пахнущего цветами. Потом сухую повязку, фиксирую — не туго, не слабо, как учила в ординатуре. Узел сбоку, чтобы не давил на швы.

Откидываюсь на лавку, закрываю глаза. Руки дрожат — мелкой, противной дрожью, которую невозможно остановить. В ушах шумит, перед глазами плывут чёрные круги, как перед обмороком. Магия Живы вытянула из меня все силы — я чувствую это каждой клеткой, каждой мышцей, каждым нервом. В Москве после двенадцатичасовой операции я не была такой пустой. Там была усталость — физическая, привычная, знакомая. Здесь — опустошение, будто кто-то вычерпал меня до дна, будто моя жизнь перетекла в него, чтобы заживить его рану.

Радосвета подхватывает меня под локоть. Её пальцы — узловатые, горячие — впиваются в мою здоровую руку.

— Иди на лежанку, — говорит властно, не терпя возражений. — Спи. Я перевяжу. Сама. Ты сделала своё. Ты спасла его.

— Не надо... я сама... — пытаюсь сопротивляться, но тело не слушается. Ноги подкашиваются, и я оседаю на лавку, приваливаюсь к стене, чувствуя, как брёвна впиваются в спину через рубаху.

— Я сказала — спи, — Радосвета подкладывает мне под

голову тулуп, пахнувший овчиной и дымом. — Он не умрёт. Я смотрела, как ты делаешь. Справлюсь.

Велеслав смотрит на меня. В его глазах — благодарность, глубокая, тяжёлая, как его боль, которую я только что вырезала. И что-то ещё, чего я не могу разобрать. Уважение? Удивление? Нежность? В Москве пациенты смотрели на меня с благодарностью, но не так. Не так, как он.

— Спи, — говорит хрипло, и его голос звучит как приказ, от которого не отмахнуться. — Я посижу. Рядом.

Уже не помню, как добираюсь до лежанки. Память вырезает кусок — темнота, пустота, только голос Радосветы: «Уснула. Спи, спи, дочка». И чья-то рука, тяжёлая, тёплая, накрывает мою. Я не отдёргиваю. Я засыпаю с ощущением, что я не одна.

Просыпаюсь от того, что кто-то поправляет на мне тулуп. Открываю глаза — в избе темно, только печь светится красным, отбрасывая пляшущие тени на потолок, на стены, на лица. На лавке у стола сидит Велеслав. Его культия перемотана чистой повязкой — белой, свежей, ровной, без единой складки. Он не спит, смотрит на огонь. Лицо спокойное, без боли, без напряжения, без той вечной гримасы, которая въелась в него за десять лет.

— Сколько времени? — спрашиваю. Голос чужой, слабый, еле слышный, шёпот, но есть — взвара не пила, а горло не сжато. Странно. В Москве после наркоза голос садился, но не так. Здесь, кажется, он остался со мной. Или я просто

ещё не остыла.

— Ночь, — он поворачивается ко мне. — Ты спала шесть часов. Кричала во сне. Что-то про Москву и железную нить. Про тарзанку. И про маму.

— Извини, — шепчу, чувствуя, как внутри всё сжимается. Мама — это боль, которую я ношу с собой тридцать лет. — Кошмары. В моём мире тоже бывают кошмары.

— Не извиняйся, — он качает головой. — Ты имеешь право на кошмары. Ты имеешь право на всё. Ты меня спасла.

— А ты всё сидишь? — пытаюсь сесть, но тело не слушается — мышцы как вата, как будто их заменили на чужие, не мои.

— Жду, — пожимает плечами. — Ты сказала, за раной надо смотреть. Сказала, что если начнёт краснеть или гноиться — сразу резать снова. Я не хочу резать снова.

Не помню, чтобы говорила. Но пусть будет. Пусть сидит. Его присутствие греет лучше печи, лучше отвара, лучше любого тулупа.

Сажусь, кутаясь в тулуп. Внутри — пустота, но не та, от которой хочется умереть, а та, после которой приходят силы. Как после долгого сна, когда просыпаешься и не понимаешь, где ты, но знаешь — жива. Знаешь — сделала.

— Как рука? — спрашиваю, кивая на культю.

— Не болит, — он смотрит на повязку удивлённо, даже растерянно, как ребёнок, который впервые увидел снег. — В первый раз за десять лет не болит. Ни стреляет, ни ноет, ни-

чего. Ни днём, ни ночью. Ты убрала. Просто взяла и убрала.

— Ещё будет болеть, — говорю, кашлянув, прочищая горло. — Когда заживать начнёт. Чесаться будет. Ткани восстанавливаются — это нормально, это хорошо. Но тот, костный — ушёл навсегда. Его больше нет.

Он кивает. Молчит. В избе тихо, только печь потрескивает да лучины догорают, чадят, отбрасывая последние блики на потолок.

— Ты странная, — говорит наконец. — Никто не мог мне помочь. Я ходил к знахарям, к ведунам, к кузнецам, которые кости правят, к старухам, которые шепчут. Все говорили — не уберёшь, с костью не справишься, надо терпеть. А ты взяла нож и сделала. И теперь не болит.

— Я врач, — пожимаю плечами. — Это моя работа. Я училась этому десять лет. В Москве, в больницах, на трупах, на живых людях, на себе. Это не магия — это навык. Это знание, где резать, чтобы не убить.

— Работа, — он повторяет слово, будто пробует на вкус, перекачивает на языке, как незнакомое блюдо. — Хорошая работа. Дорогая работа. Я тебе должен.

— Ничего ты мне не должен, — отмахиваюсь. — Я лечу не за деньги. Не за серебро. Не за мясо.

— А за что?

— За то, что ты есть, — говорю, и сама удивляюсь своим словам. Они вылетают раньше, чем я успеваю их обдумать. — За то, что ты защищаешь меня. За то, что не бросил. За

то, что смотришь на меня, как на человека.

Он смотрит на меня долго. В его глазах — что-то новое, тёплое, чего я раньше не видела. Не благодарность. Не удивление. Что-то большее.

Встаёт, идёт к двери. Останавливается на пороге, как всегда.

— Спасибо, — говорит. — Не уходи. Оставайся здесь. Со мной.

Уходит, не попрощавшись. Дверь закрывается. Я смотрю на дверь, потом на стол.

На столе — кружка с мёдом, янтарным, тягучим, пахнущим цветами и дымом. Рядом — записка на бересте. Корявым почерком, с нажимом, буквы прыгают, съезжают вниз, как будто рука не слушалась: «Спасибо. Не уходи».

Беру записку в руки, читаю снова. Потом ещё раз. В Москве никто не писал мне записок. Пациенты благодарили устно, формально, открытками к праздникам. Ленка присылала голосовые сообщения с кучей смайликов и восклицательных знаков. А здесь — береста, уголь и человек, который не умеет говорить о чувствах, но умеет их писать. Который десять лет терпел боль — и написал «спасибо» тому, кто её убрал.

Улыбаюсь. Первый раз за много дней — не дежурную улыбку врача для пациента, а настоящую, от которой теплеет внутри, от которой глаза становятся мокрыми. В Москве я разучилась улыбаться. Здесь учусь заново.

Прячу записку в кисет на поясе, рядом с серебряными нитями, иглами и сушёным мхом. Моим «тревожным чемоданчиком», который стал ещё дороже.

В дверях появляется Милава. Глаза красные, опухшие, на щеках — грязные разводы от слёз. Она стоит, переминается с ноги на ногу, тербит край рубахи.

— Я подглядывала, — шепчет. — В щёлку. Я видела, как ты резала. Как кровь текла. Как он терпел.

— Зачем? — спрашиваю. — Зачем ты смотрела?

— Чтобы не бояться, — она всхлипывает. — Я хочу быть как ты. Не бояться крови. Не бояться боли.

— Бояться надо, — говорю, подзывая её к себе. — Я тоже боюсь. Каждый раз боюсь. Но страх не должен мешать. Ты поняла?

— Поняла, — кивает, вытирает нос рукавом. — Ты теперь моя мама?

— Нет, — качаю головой. — Я твой учитель. А учитель — это тот, кто учит не бояться. Или бояться правильно.

Радосвета заходит, ставит на стол миску с кашей.

— Ешь, — говорит. — Обоим. Силы нужны.

Милава садится рядом со мной, прижимается плечом. Тёплая, живая. Я глажу её по голове, путанные косички.

За окном розовеет рассвет — новый день, холодный, серый, но живой. Я смотрю на свои руки — в ссадинах, в бинтах, в мозолях. Они сделали сегодня то, чего не должны были уметь. Они резали, шили, спасали. И они не дрожат.

Глава 6. Голос из тепла.

После операции прошло три дня. Велеслав приходит каждый вечер — сидит на лавке, молчит, смотрит на огонь. Я проверяю культю — рана заживает чисто, швы держат, серебро светится молочным, но не ярко, магия успокоилась, как вода в озере после бури. Он почти не морщится, когда я надавливаю на края рубца, проверяя, нет ли под ним воспаления. В Москве я сказала бы «отличная динамика, пациент идёт на поправку». Здесь говорят «боги миловали», хотя, кажется, боги тут ни при чём — только мои руки и его железное терпение.

Сегодня утром я проснулась раньше обычного. В избе тихо, Радосвета ещё спит в сенях — слышу её тихое похрапывание, мерное, спокойное, как дыхание большого зверя. Печь прогорела, в горнице прохладно, но не холодно — воздух свежий, пахнет дымом и сухой травой. На столике у лежанки стоит кружка — глина тёплая, пар идёт. Кто-то поставил, пока я спала. Радосвета? Или он? Велеслав иногда заходит на рассвете, проверяет, жива ли, и уходит. Я замечала следы его сапог на снегу у крыльца — большие, глубокие, с чётким рисунком, будто он стоял и ждал, прежде чем уйти.

Беру кружку, пью. Мёд, мята, душица. Горло оттаивает, голос возвращается — металлический, скрежещущий, но мой.

— Спасибо, — говорю в пустоту.

Никто не отвечает.

Встаю, иду к кадке с водой. Мою руки — долго, тщательно, с щёлоком. Вода холодная, обжигает пальцы. В Москве я не задумывалась о том, что вода может быть драгоценностью. Здесь каждое ведро — труд. Каждое мытьё — роскошь. Тру щёлоком между пальцами, под ногтями, смываю грязь, которая въелась за ночь. Потом вытираюсь тряпицей, грубой, жёсткой, пахнувшей льном и дымом.

Возвращаюсь к столу, сажусь. Кружка ещё полная — пью маленькими глотками, наслаждаюсь теплом, которое разливается по горлу, спускается в грудь, в живот. И вдруг замечаю: взвар уже остыл. Совсем. А голос не пропал.

— Проверяю, — шепчу. — Раз, два, три. Слышно?

Слышно. Горло не сжимается, слова выходят легко, почти как в Москве. Только голос чужой — металлический, с хрипотцой, с непривычным резонансом. Но он работает. Я говорю — и меня слышат.

— Странно, — бормочу, касаясь пальцами шеи, нащупывая пульс — ровный, спокойный. — Раньше без тепла не могла. словно кто-то завязывал узел на горле, а теперь развязал.

В Москве я согревалась кофе — чёрным, крепким, обжигающим, он прогонял сон, поднимал давление, но не трогал холод внутри, который жил под рёбрами. Я согревалась работой — сменами по четырнадцать часов, операциями, бе-

готнёй по коридорам, криками пациентов и запахом антисептика. Адреналин грел лучше любого кофе. Это помогало не думать, не чувствовать, не замечать, что я одна. А теперь я согреваюсь им. Его молчанием, его тяжёлым взглядом, тем, как он сидит рядом и ничего не требует, просто дышит. Странно: взвар остыл, а голос не пропал. Тепло не снаружи. Внутри.

Входит Радосвета, шаркая лаптями по земляному полу. Смотрит на меня, на кружку, на моё лицо. Единственный глаз — внимательный, живой, с лучистыми морщинками.

— Говоришь, — констатирует.

— Говорю, — киваю. — Взвар холодный. А голос есть.

Она садится напротив, поправляет повязку на глазу, кричит.

— Значит, тепло внутри, — говорит. — Не взваром грёшься — чем-то другим. Не печью. Не солнцем.

— Чем?

— Не знаю, — она пожимает плечами, и седые пряди выгибаются из пучка. — Может, им. Может, собой. Ты изменилась за эти дни. Стала теплее. Раньше от тебя холодом веяло, как от Зимни. А теперь — как от печки.

Не отвечаю. Внутри — странное чувство. Будто я и правда согрелась. Не от печи, не от взвара. От него. От его молчаливого присутствия. От того, как он смотрит на меня, когда думает, что я не вижу. От того, как его пальцы дрожали, когда он перевязывал моё плечо.

Радосвета ставит на стол миску с кашей, садится рядом.

— Сегодня людей будет много, — говорит. — Слух о тебе идёт по всему святилищу. Просят и просят. Уже с утра трое ждут у ворот.

— Пусть приходят, — киваю. — Я готова.

День проходит в работе. Пять человек — с ранами, с кашлем, с больными суставами, с зубной болью, с ожогами. Я принимаю их, лечу, перевязываю, объясняю жестами и словами. Голос не пропадает — я говорю без взвара, и это странно, но приятно. Не нужно бегать к печи каждые полчаса. Не нужно бояться, что замолчу посреди разговора. Внутри — уверенность, которой не было раньше.

Женщина с ожогом — кипятком облилась, на руке волдыри. Промываю серебром, смазываю мёдом, перевязываю. Мужчина с больной спиной — старый радикулит, даю настой коры ивы, показываю, какие травы заваривать. Девочка с ангиной — горло красное, гнойные пробки, полоскание солью и серебром. Старуха с кашлем — пневмония, серебро, мёд, хрен, постельный режим. Парень с порезом — глубоко, до мышцы, накладываю швы, серебряные нити.

К вечеру я валюсь с ног, но внутри — удовлетворение. Я сделала то, для чего рождена. Я лечила. Я помогала. Я была врачом.

Вечером, когда уже темнеет и за окном загорается северное сияние — зелёное, размытое, текучее, как краска по воде, — слышу шаги за дверью. Тяжёлые, уверенные, с глухим

стуком сапог. Сердце пропускает удар — и снова бьётся ровно, как метроном.

Входит Велеслав. Садится на лавку напротив, смотрит на меня. Я смотрю на него. В избе тихо, только печь потрескивает да лучины чадят, отбрасывая жёлтые блики на стены.

— Руку давай, — говорю. — Проверю.

Протягивает культю. Разматываю повязку — аккуратно, не торопясь, пальцами, чтобы не потревожить швы. Под ней — розовый, гладкий рубец, швы ровные, без воспаления. Серебро блестит тускло, но держит хорошо. Кожа вокруг чистая, отёка нет, температуры нет — прикладываю тыльную сторону ладони, чувствую нормальное тепло. Заживает лучше, чем я ожидала. Даже в Москве я не всегда видела такое быстрое заживление.

— Хорошо, — одобряю. — Заживает правильно. Через седмицу можно будет снять нити. Но повязку меняй каждый день, не забывай.

— Ты говорила, — он кивает. — Я помню.

Накладываю новую повязку — не туго, не слабо, узел сбоку. Показываю, как завязывать, хотя он уже умеет. Пальцы у него грубые, с мозолями, но послушные, движения точные.

— Молодец, — говорю. — Учишься быстро.

— Ты хорошо учишь, — он смотрит на меня, и в его взгляде — что-то тёплое, почти нежное, чего я раньше не замечала. — Ты заговорила.

— Я всегда говорю, — пожимаю плечами.

— Нет, — он качает головой, и светлые пряди падают на лицо. — Ты молчала. Когда я пришёл в первый раз — ты молчала. Потом говорила только с кружкой, пила взвар и говорила. А сейчас говоришь просто так. Без взвара.

Смотрю на стол. Кружка стоит полная, остывшая, мёд осел на дне. Я не притрагивалась к ней с тех пор, как он вошёл. И голос не пропал. Горло не сжимается, слова не застревают, нет того противного удушья, которое накатывало раньше.

— Странно, — бормочу, касаясь пальцами шеи, проверяя пульс на сонной артерии — ровный, спокойный. — Раньше без взвара не могла. Словно кто-то завязывал узел на горле, а теперь развязал. Может, магия перестала работать? Или я привыкла?

— Ты заговорила, потому что я пришёл, — он говорит это спокойно, как факт, как диагноз, который не требует подтверждения. — Тепло. Живое тепло. Я читал об этом в старых рукописях, которые нашёл в землянке. Немой обретает голос рядом с тем, кто дорог. Кто согревает изнутри. Не взваром — душой.

— Ты мне не дорог, — отвечаю слишком быстро, чувствуя, как кровь приливает к щекам, как внутри всё переворачивается. — Ты пациент. Просто пациент.

— Пациент, — он повторяет слово, будто пробует на вкус, перекачивает на языке. — Хорошее слово. Но я тебя согрел. И ты заговорила. Это не магия — это... не знаю. Просто так

работает.

Не знаю, что ответить. Потому что он прав. Взвар давно остыл, я выпила его залпом, когда он раздевался, и с тех пор прошёл уже час. А голос всё ещё здесь. Горло не сжимается, слова выходят легко, почти как в Москве. Внутри — тепло, которое не связано с огнём, с печью, с взваром. Тепло от его присутствия, от его взгляда, от того, что он сидит напротив и смотрит на меня, не отводя глаз.

В Москве никто не согревал меня. Даже Ленка, даже пациенты, даже случайные попутчики в метро. Я была одна в пустой квартире с центральным отоплением, но мёрзла. Здесь я в избе с земляным полом и бычьим пузырьём на окнах — и мне тепло.

— Ладно, — сдаюсь. — Может быть. Но не думай, что я буду петь тебе песни.

— Не буду, — он усмехается, уголок рта поднимается вверх. — Ты плохо поёшь.

— Откуда знаешь?

— Ты мурлыкала во сне, — он говорит это без тени насмешки, просто констатирует. — Вчера, когда я сидел здесь после операции. Ты уснула на лежанке и мурлыкала что-то тихое. Но фальшиво. И слова были странные. Про белые халаты и железную птицу.

Внутри — вспышка стыда и чего-то ещё, похожего на смущение. В Москве никто не слышал, как я пою. Даже Ленка. Я пела только в душе, когда думала, что никого нет, и в ма-

шине, в пробках, под радио.

— Неважно, — бормочу, отворачиваясь к печи. — Ты хотел спросить что-то? Зачем пришёл на самом деле? Не повязку же проверять.

— Откуда ты пришла? — он смотрит прямо, не отводя взгляд. — Не из этого мира. Я знаю. Ты говорила про Москву, про тарзанку. Теперь, когда ты можешь говорить без взыра, расскажи. Всё. Я хочу знать.

— Ты согласишься? — усмехаюсь, смотрю на него искоса.

— Я видел, как ты лежишь, — он пожимает плечами, и культи дёргаются — нервный жест. — Я видел, как серебро светится в твоих руках. Я чувствую, как Стужа отступает, когда ты рядом. Я поверю во что угодно. Даже в железных птиц.

Молчу. Смотрю на огонь в печи. Пламя лижет дрова, стреляет смолой, искры взлетают к потолку и гаснут в темноте. Внутри — страх и облегчение одновременно. Я не рассказывала никому, кроме Радосветы. Но она старая, она из другого мира, она понимает. А он — здешний, северный, однорукий княжич, который называет меня своей собственностью. Сможет ли он понять? Или подумает, что я безумна, что меня нужно сжечь или изгнать?

— В моём мире нет магии, — начинаю тихо, глядя на угли. — Совсем. Вообще. Есть техника — машины, которые ездят без лошадей, быстрее ветра. Есть электричество — свет, который зажигается кнопкой, даже ночью. Есть те-

лефоны — маленькие коробочки, с помощью которых можно говорить с человеком за тысячи вёрст. В Москве я могла позвонить в Америку и услышать голос подруги через секунду.

— Колдовство, — он качает головой, но в голосе нет осуждения, только удивление и что-то похожее на детское любопытство.

— Не колдовство, — поправляю. — Наука. Люди придумали, как заставить природу работать на них. Мы летаем по небу в железных птицах выше облаков. Мы опускаемся на дно океана в стальных шарах. Мы лечим болезни, которые здесь убивают за день — чуму, холеру, заражение крови. У нас есть лекарства, которые убивают микробов, и вакцины, которые не дают заболеть.

— И ты пришла оттуда, — он смотрит на меня. — Как?

— Прыгнула с тарзанки, — вижу его непонимание и объясняю: — Это верёвка. Длинная, упругая, из стальных нитей. Привязываешься к тросу и прыгаешь с высоты — с моста, со скалы, с вышки. Адреналин, острые ощущения. Люди платят деньги, чтобы испытать страх. Верёвка оборвалась. Я упала в воду — и очнулась здесь. В чужом теле, в чужом мире, без голоса.

— В теле Зимни, — он кивает. — Немой, проклятой, никому не нужной. Дитя метели, которое хотели принести в жертву.

— Да, — соглашаюсь. — В теле девушки, которую ты

украл два года назад у отца. Которую ты называешь своей собственностью.

— Спас, — поправляет он, и в голосе появляется сталь, жёсткая, непреклонная. — Я спас её от жертвоприношения. Её хотели зарезать на алтаре, чтобы остановить Стужу. Перерезать горло и вылить кровь на камень. Я не позволил.

— Почему? — спрашиваю прямо, глядя в глаза. — Почему ты решил её спасти? Ты мог просто уйти. Уехать на Север один. Оставить её князю. Она тебе никто — чужая, немая, проклятая. Почему ты рисковал?

— Не мог, — он смотрит на огонь, и в его глазах — тень боли, которую я уже начинаю узнавать, которая прячется где-то глубоко, под слоями лет и шрамов. — Я уже потерял одну женщину. Не хотел терять другую. Даже чужую, даже немую, даже проклятую. Смерть не разбирает, кто чужой, а кто свой.

— Я не она, — говорю тихо. — Я не Милана. Я другая. Чужая. Из другого мира. Я не твоя невеста.

— Знаю, — он переводит взгляд на меня. — Ты другая. Ты не боишься. Ты лечишь. Ты смотришь на меня, как на человека, а не как на проклятие. Ты первая, кто посмотрел на меня без страха.

В избе тихо. Лучины догорают, чадят, отбрасывают последние жёлтые блики. Радосвета давно ушла в сени — слышу, как она возится там, но не выходит. Мы одни.

— Ты говорил, я пришла по зову, — напоминаю. — Что

это значит?

Он молчит долго. Так долго, что я думаю — не ответит. Потом говорит, глядя на огонь:

— Ты — дитя метели. Рождённая в метель, когда грань между мирами тонкая, почти прозрачная. Твоя кровь — мост. Ты можешь войти туда, куда другие не могут. В сердце Стужи.

— И что я там должна сделать?

— Не знаю, — он качает головой. — Никто не знает. Может, открыть дверь и выпустить Милану. Может, закрыть дверь и запереть Стужу навсегда. Может, забрать её оттуда — если она ещё жива. Если лёд не убил её.

— Ты хочешь, чтобы я пошла туда?

— Я хочу, чтобы ты жила, — он говорит это твёрдо, с нажимом. — Всё остальное — потом. Сначала ты должна привыкнуть, выжить, научиться быть здесь. Научиться говорить. Научиться защищать себя. А потом — решать.

Молчим. Печь догорает, в избе становится прохладно. Я кутаюсь в тулуп, смотрю на него. Он сидит неподвижно, смотрит на угли. Профиль у него тяжёлый, с горбинкой на носу, с выступающими скулами. Шрамы на лице кажутся почти белыми в свете печи.

— Ты не боишься меня? — спрашивает, не поворачиваясь.

— Нет, — честно отвечаю. — Ты не страшный. Ты просто сломанный. Как и я. В Москве я была такая же — одна, ни-

кому не нужная, с болью, которую никто не видел.

— Сломанный, — он повторяет слово. — Да. Наверное.

Встаёт, идёт к двери. Останавливается на пороге.

— Завтра приду, — говорит. — Посмотрю, как ты. Как твоё плечо.

— Приходи, — отвечаю. — Я покажу тебе новую повязку для культи. И мёду дам — он помогает заживлению.

Уходит, не попрощавшись. Дверь закрывается.

В сенях тихо. Радосвета не спит — я слышу, как она возится, открывает сундук. Старый, скрипучий, с медными накладками, с резными углами. Заглядываю в щель между брёвнами.

Она сидит на лавке, держит в руках бронзовый крест — византийский, потемневший, с синим эмалевым вкраплением в центре. Гладит его узловатыми пальцами, шепчет что-то тихо, не разобрать.

— Прости, Господи, — доносится до меня. — Я выбрала их. И не жалею. Ни дня.

Прячет крест обратно в сундук, закрывает крышку. Вздыхает тяжело, всей грудью.

Я отхожу от щели, ложусь на лежанку.

В Москве я не верила в богов. Считала это сказками для утешения. Здесь — начинаю сомневаться. Потому что слишком много совпадений. Слишком много знаков. И этот крест, который она прячет, как память о другом мире.

За окном зелёное сияние течёт по небу, переливается,

пульсирует. Я закрываю глаза и думаю о нём. О его голосе — низким, хриплом, как подземный камень. О его глазах — серых, усталых, но живых. О том, как он смотрит на огонь. О том, что он называл меня «дорогой» — не словами, а действием. Пришёл, согрел, заставил говорить. Поверил в то, что я из другого мира. Не испугался.

В Москве никто не согревал меня. Никто не ждал. Никто не писал записок на бересте. Никто не смотрел на меня так, будто я — единственное живое в его мёртвом мире.

Здесь я нужна. Здесь я не одна.

Засыпаю с мыслью, что завтра он снова придёт. Сядет напротив, будет молчать, смотреть на огонь. А я буду говорить. Потому что могу. Потому что он согрел меня.

Глава 7. Лёд и пламя.

После той ночи, когда я впервые заговорила без взвара, прошло ещё два дня. Велеслав приходил каждый вечер — сидел на лавке, молчал, смотрел на огонь. Я проверяла его культю, промывала швы серебряной водой, меняла повязку. Живало хорошо — рубец розовел, нити не гноились, отёк спал. Он почти улыбался, когда я говорила, что скоро можно будет снять нити. Почти. Уголком рта, краешком глаз, едва заметным движением, которого раньше не было. В Москве я видела такие улыбки у пациентов, которые начинали верить, что выживут. Здесь — у человека, который десять лет не верил ни во что.

Сегодня он не пришёл.

Я не сразу заметила. Сначала — дела: на рассвете прибежала Милава за мазью для отцовской ноги, потом Радосвета позвала помочь перебрать травы, потом я перевязывала соседского мальчика, который порезал руку о нож. Только к полудню, когда всё стихло, я поняла — его нет. Не было с утра. Ни следов сапог на снегу, ни тяжёлых шагов за дверью, ни его молчаливого присутствия на лавке у печи.

В Москве я не замечала, как сильно привыкла к его приходам. Думала — пациент как пациент, приходит, сидит, уходит. А когда не пришёл — внутри образовалась пустота. Холодная, липкая, как тот страх перед сложной операцией, ко-

гда не знаешь, выживет пациент или нет. Я поймала себя на том, что выглядываю в окно каждые полчаса. Смотрю на тропу из леса — нет ли его фигуры, широкой, сутулой, с култей, прижатой к груди. Нет. Только ветер гонит позёмку по замёрзшей земле.

С утра поднялся ветер — северный, ледяной, с воем и свистом, как будто кто-то огромный дышал прямо в щели между брёвнами. За окнами почернело в полдень — тучи закрыли солнце, и наступили сумерки, будто ночь пришла на шесть часов раньше. Радосвета заперла ворота на железный засов, велела всем сидеть по избам.

— Стужа идёт, — шептала она, крестясь на свой византийский крест дрожащими пальцами. — Чуешь, как воздух застыл?

Чуяла. Воздух стал плотным, тяжёлым, каждый вдох — как глоток ледяной воды из проруби. Пальцы немели даже у печи, в двух шагах от огня. В Москве я бы подумала — атмосферное явление, циклон, перепад давления. Синоптики сказали бы «ожидается ухудшение погоды». Я надела бы тёплую куртку и пошла на смену, ругая московский климат. Здесь я знаю — Стужа. Живое дыхание Нави, которое ищет вход в наш мир. Оно сжимает лёгкие, заставляет сердце биться чаще. Я чувствую его кожей — холод, который не от ветра, а от чего-то древнего, злого, голодного.

На площади пусто — люди попрятались по избам, задвинули ставни, заперли двери изнутри. Даже собаки не лают

— только скулят, забившись в конуры. Милава прибежала утром, попросила ещё настойки — у отца нога разболелась к непогоде. Я дала ей склянку, велела поить тёплым и добавить мёда. Девочка хотела остаться, но я отправила её домой.

— Сиди с папой, — сказала. — Не выходи на улицу, что бы ни случилось. Я приду, если понадобится.

Она посмотрела на меня серьёзно, по-взрослому, кивнула. В её серо-голубых глазах — страх, который она пытается спрятать, но он всё равно проступает, дрожит в уголках губ.

Она ушла, а я осталась стоять на крыльце, провожая её взглядом. Такая маленькая, худая, лапти на босу ногу, рубаха до колен, подпоясана верёвкой. В Москве дети её возраста сидят в школе за партами, играют в телефонах, спорят с родителями из-за оценок. А здесь Милава уже знает, что такое смерть, и не боится смотреть ей в глаза. Вернее, боится. Но идёт. Как я. Как все здесь. Я вспомнила себя в её возрасте — такой же испуганной, когда бабушка болела, а я ничего не могла сделать, только сидеть рядом и держать за руку. И тогда я поклялась стать врачом. А Милава клянётся молча, просто глядя на меня.

В сумерках слышу крик. Не человеческий — звериный, хриплый, с металлическим отзвуком, будто железом по стеклу скребут. Выбегаю на крыльцо, забыв накинуть тулуп. Ветер бьёт в лицо, холод пробирает до костей, до самого нутра, до позвонков.

Над частоколом — тени. Большие, лохматые, с синими

глазами, которые светятся в темноте, как злые светлячки. Навьи гончие. Волки, но не волки — шкура серая, как пепел, из пасти валит пар, от лап остаётся иней на земле. В Москве я видела таких только в фильмах ужасов, когда в детстве смотрела «Чужого» под одеялом, пока бабушка спала в соседней комнате. Здесь они настоящие. И здесь они хотят убивать.

— В избу! — кричит Радосвета сзади. — Живо!

Но я уже бегу к воротам. Потому что там Милава. Потому что там люди мечутся по площади, женщины тащат детей, мужики хватают топоры и вилы, кто-то молится, кто-то плачет. Потому что я врач и не умею сидеть сложа руки, когда кто-то в опасности.

Милава стоит у колодца, замерла, смотрит на тварь, которая перемахнула через частокол и приземлилась в двух шагах от неё. Девочка не двигается. Застыла от страха — реакция замирания, я знаю это состояние по практике. В Москве я видела таких пациентов после аварий — они не кричат, не плачут, просто смотрят в одну точку и ждут. Их мозг отключается, тело превращается в статую. Если не вмешаться — тварь прыгнет, и всё.

Не дождутся.

— Милава, ко мне! — кричу, хватая с земли первую попавшуюся тяжесть — кочергу, железную, чёрную от копоти, стояла у крыльца.

Голос срывается на хрип, но работает — ярость греет горло лучше любого взвара. Внутри — холодная ярость, та са-

мая, что в операционной, когда пациент на грани, а счёт идёт на секунды. Не думаю. Не раздумываю. Бегу наперерез, за-слоняя девочку.

Девочка не двигается. Тварь скалит синие зубы, готовится к прыжку. В её глазах — не голод, не злоба. Холод. Абсолютный, мёртвый холод, от которого стынет кровь в жилах. Она не хочет есть — она хочет заморозить, превратить в лёд, остановить сердце.

Сзади — топот. Тяжёлый, быстрый, как удар сердца. Веле-слав. Вылетает из леса, как чёрная туча, в одной руке топор, культя прижата к груди, повязка размоталась. Он не ждал нападения — был в землянке, спал, наверное, или сидел у огня. Рубит первую гончую — та рассыпается инеем, обда-вая холодом.

— Все в святилище! — орёт он, отбиваясь от нападающих тварей. — Живо! Не стойте столбом!

Твари лезут отовсюду — через частокол, через ворота, че-рез крыши. Одна, та, что у колодца, прыгает к Милаве. Внут-ри — щелчок. Как выключатель. Страх исчезает. Остаётся только холодный расчёт и ярость.

Хватаю горящую головню из костра у капища — уголёк, тлеющий, красный, от которого осталось только пламя на конце палки. Бегу наперерез, размахиваю, кричу не своим голосом:

— Пошла прочь! Прочь, тварь!

Тварь шарахается от огня. Отступает на шаг, скалит зу-

бы, но не уходит — глаза горят, пасть дымится, из неё капает чёрная слюна, которая шипит на земле. Я бью головнёй по морде — со всей силы, как бью скальпелем в операционной, когда надо быстро и точно, не думая, не сомневаясь. Шерсть вспыхивает, тварь воет, рассыпается инеем, обдавая меня холодом и пеплом.

Хватаю Милаву за руку — ледяную, дрожащую, пальцы как льдинки — тащу к избе Радосветы. Девочка идёт как в трансе, спотыкается, но я не останавливаюсь.

— Сиди там! — толкаю её в сени. — Закрой дверь на за-
сов! Не выходи, что бы ни случилось!

— А ты? — шепчет она, трясаясь, глаза огромные, как
плошки, в них слёзы.

— Я нужна там, — говорю и выбегаю обратно.

Возвращаюсь на площадь. Велеслава окружили — три
твари, четвёртая, пятая. Он рубится одной рукой, но силы
уже на исходе — удары стали короче, медленнее. Уклоняет-
ся, падает на колено. Топор вылетает из ослабевшей руки,
катится по земле, оставляя полосу в грязи.

Не думаю. Бегу. Хватаю второй топор — чей-то, брошен-
ный, валяется у колодца рядом с перевернутым ведром. За-
махиваюсь, чувствую тяжесть непривычного оружия. Вес —
почти как у молотка, но баланс другой, рукоять длинная,
неудобная. В Москве я никогда не держала топор, только
скальпель и хирургические зажимы. Но сейчас не до мастер-
ства.

— Велеслав, пригнись! — кричу, вкладывая в голос всю силу.

Он падает на землю, прикрывая голову правой рукой. Я бью — не целюсь, просто вкладываю всю злость, весь страх, всю ярость за Милаву, за него, за себя, за этот проклятый мир, который бросает на нас одну тварь за другой. Лезвие входит в башку твари с хрустом — кость, ледяная, ломается как сухой лёд. Она визжит, рассыпается инеем, обдавая меня холодом с ног до головы.

Встаю рядом с ним, спиной к спине. Дышу тяжело, сердце колотится где-то в горле, в ушах шумит кровь. Топор в руке дрожит — от напряжения, от холода, от адреналина, который заливает кровь.

— Уходи! — кричит он, пытаясь встать. — Уходи в избу! Ты не воин!

— Нет, — выдыхаю, сжимая топор обеими руками. — Я врач. Я не бросаю пациентов. Даже таких упрямых.

Вокруг — тьма и синие глаза. Сколько их? Десять? Двадцать? Сбилась со счёту. Они кружат, как волки вокруг добычи, щёлкают зубами, царапают землю когтями. Оставляют на промёрзшей земле борозды с инеем, который не тает.

Он рубит справа, я слева. Не умею — никогда не держала топор, только скальпель. Бью, как по мясу, как по трупам на вскрытии — коротко, резко, от плеча, вкладывая весь вес. Каждый удар — молитва. Не богам — себе. Не промахнись. Не упади. Не дай им убить его.

Твари отступают, снова лезут. Одна вцепляется мне в плечо — то же самое, левое, где ещё не зажили старые раны от прошлого нападения. Когти рвут рубаху, кожу, впиваются в мышцы, царапают кость. Боль — горячая, острая, как от скальпеля без наркоза, только в десять раз сильнее. Зубы стискиваю, чтобы не закричать. Падаю на колено, но топор не выпускаю.

Велеслав хрипит. Оборачиваюсь — он стоит на колене, тварь вцепилась в культю, повязка сбилась, течёт кровь — тёмная, венозная, но слишком обильная.

— Пошла! — бью её топором, с ненавистью, с такой силой, что топор вылетает из руки и улетает в темноту.

Тварь отлетает, но Велеслав падает. Не встаёт. Глаза закрыты, дыхание поверхностное, редкое — раз в десять секунд. Пульс на шее — есть, слабый, частый, сто двадцать. Жив. Без сознания.

Твари замерли, смотрят. Ждут. Чуют слабость. Кружат медленнее, но ближе.

Встаю над ним, топора нет — осталась только горящая головня, которую я подобрала с земли, обгоревшую с одного конца. Другую руку прижимаю к раненому плечу — кровь сочится сквозь пальцы, капает на землю, пахнет железом и теплом.

— Идите сюда, — говорю тихо, но твёрдо. — Я вас всех зарежу. Как цыплят. Одной левой.

Не знаю, понимают ли они слова. Но отступают. На шаг.

На два.

— Идите!

Сзади — голоса. Люди. С факелами, с вилами, с топорами. Радосвета ведёт ополчение — хромает, опирается на клюку, но идёт впереди, высоко подняв горящую лучину.

— Огонь! — кричит она. — Берите огонь! Они боятся света и тепла!

Твари шарахаются от огня. Я поднимаю головню выше, размахиваю — пламя режет синие глаза, заставляет отступать дальше. Одна за другой растворяются в темноте, рассыпаются инеем, оставляя после себя только холод и запах горелого льда.

— Ушли, — шепчет кто-то. — Ушли, слава богам.

Падаю на колени рядом с Велеславом. Трясущимися руками проверяю пульс — есть, слабый, нитевидный, но есть. Дышит — поверхностно, редко, но ровно. Культия разодрана в трёх местах, повязка в клочьях, кровь течёт по рукаву, капает на землю.

— Несите в избу! — кричу, голос срывается, но работает. — Осторожно, не трясите, поддерживайте голову!

Трое мужиков поднимают его, тащат к избе Радосветы. Я рядом, зажимаю рану тряпкой, которую сунула мне в руки какая-то женщина. Тряпица быстро пропитывается кровью, становится тёплой, липкой, скользкой.

В избе светло — десяток лучин, все светцы на стенах и на столе, Радосвета зажгла даже те, что берегла для праздников.

Кладу его на лежанку, разрываю рубаху — ткань подаётся с трудом, пропитана кровью и потом, присохла к телу.

Кровь идёт сильно, но артерия цела — это венозное, тёмное, течёт ровно, не фонтанирует. Повезло. Тварь рвала мышцы культи — те, что остались после ампутации, — но не задела крупные сосуды. В моём мире я бы наложила жгут выше раны, ввела кровоостанавливающие, зашила под наркозом. Здесь — только мои руки и серебро.

— Воду кипятить! Серебро в кружку! Мёд доставай! — командуя, не глядя. — И чистые тряпицы, много! Все, какие есть!

Радосвета бегают, подаёт, не задаёт вопросов, не мешает. Я мою руки в кадке — вода становится розовой, смешиваясь с моей кровью из раненого плеча, но плечо подождёт. Сначала он.

Промываю рану серебряной водой — лью из кружки тонкой струйкой, не жалея. Серебро светится молочным, ярко, ослепляет. Шипит, как будто попало на горячую сковородку. Велеслав стонет, дёргается, но не приходит в себя. Это хорошо — не чувствует боли.

Накладываю швы — быстро, грубо, на живую нитку. Второй раз за эту неделю. Нить тонкая, серебряная, входит в кожу с трудом — игла костяная, тупая, не сравнить со скальпелем. Каждый стежок — усилие, пот на лбу, дрожь в пальцах. Пот заливает глаза, я вытираю его плечом — здоровым, правым, — и продолжаю.

Первый шов. Второй. Третий. Пальцы работают на автомате, как в лучшие времена в операционной, когда не думаешь, а делаешь. Я не считаю, просто делаю. Каждый шов — маленькая победа над смертью, над Стужей, над всем, что пытается его забрать.

— Мёд, — командую, и Радосвета подаёт плошку.

Втираю мёд в швы — он липкий, тёплый, пахнет цветами и дымом. Сверху — ещё слой серебряной нити, частыми стежками, чтобы края не расходились.

Накладываю повязку — не туго, не слабо. Чисто, плотно, узел сбоку.

— Всё, — выдыхаю, откидываясь на лавку. — Дальше сам. Я сделала что могла.

Сажусь, смотрю на свои руки. В крови, чужой и своей. Плечо саднит, рубаша прилипла к ране, каждое движение отдаётся болью. Но внутри — странное удовлетворение. Как после удачной операции, когда пациент выжил, когда ты вытащила его с того света буквально за волосы.

Радосвета подходит, смотрит на меня, потом на Велеслава.

— Ты ранена, — говорит.

— Знаю.

— Лечись.

— Потом. Сначала он должен прийти в себя.

Смотрю на Велеслава. Лицо бледное, губы синие, но дышит ровнее, чем в начале. Пульс прощупывается, наполня-

ется, становится реже — сто десять, сто, девяносто. Кровь остановилась, серебро сделало своё дело.

— Выживет, — говорю, и это не вопрос. Констатация факта. Потому что я не дам ему умереть.

Проходит час, может, два. Не знаю — за окном по-прежнему темно, ночь или раннее утро, не разобрать. Сажусь на лавке, смотрю на него. Плечо болит, рука немеет, но я не двигаюсь.

Он открывает глаза. Мутно, с трудом фокусируется на мне. Зрачки расширены, но уже реагируют на свет — печь горит, в избе светло.

— Ты здесь, — шепчет, губы потрескались, в уголках запёкшаяся кровь.

— Здесь, — отвечаю. — И ты здесь. Не дождёшься, не сбежишь.

— Ты... топором... — он кашляет, морщится — повязка на культе натянулась. — Откуда ты умеешь?

— Импровизация, — усмехаюсь, чувствуя, как пересыхает во рту. — Врач без инструментов — не врач. Пришлось заменить скальпель на топор. Не рекомендую, баланс ужасный, и тяжело слишком.

Он смотрит на меня долго. В его глазах — что-то новое, чего я раньше не видела. Не боль, не усталость. Уважение. Благодарность. Нежность.

— Ты плакала, — говорит, поднимая правую руку. Пальцы дрожат, но он касается моей щеки — проводит по скуле,

по мокрой дорожке.

— Нет. Кровь. Или дым. В избе надымлено, у тебя галлюцинации.

— Дым не пахнет солью, — он слабо улыбается. — Ты боялась за меня. Это видно.

— Я боялась, что ты умрёшь и мне придётся объяснять твоему отцу, — бормочу, отворачиваясь, чтобы он не видел мои глаза. — А потом он придёт и убьёт меня за то, что не спасла.

— Не придёт, — он качает головой, и светлые пряди падают на лицо. — Я живой. Ты меня спасла. Я запомню.

— Мы друг друга спасли, — поправляю. — Ты меня — от первой твари, когда она вцепилась в плечо. Я тебя — от остальных. Считается.

Он закрывает глаза, потом снова открывает.

— Ты... поцеловала меня? Когда я лежал без памяти.

— Что?

— Ты наклонилась. Я чувствовал. Твои губы на моих. Тёплые.

Внутри — жар. Сердце колотится где-то в горле, кровь приливает к щекам.

— Это не поцелуй. Это искусственное дыхание. Рот в рот. Медицинская процедура, когда человек не дышит. Я тебя откачала, а ты придумал себе невесть что.

— Медицинская? — он слабо усмехается. — Тогда повтори.

— Не повторяю. Ты дышишь сам. И дышишь хорошо, не придирайся.

— Жаль, — он закрывает глаза.

Через минуту засыпает. Дыхание ровное, глубокое, без хрипов. Я сижу, смотрю на него. Плечо болит, рука немеет, но я не ухожу.

Радосвета приносит новые тряпицы, серебро, мёд, ставит на стол. Молча.

— Плечо. Промой. Сейчас. Или я сама.

Смотрю на свою руку. Рубаха разорвана от плеча до локтя, когти оставили три глубокие полосы — параллельные, ровные. Кровь запеклась, но рана чистая — серебро в моей крови сделало своё дело, не дало инфекции. Края розовые, без гноя.

— Давай.

Снимаю рубаху, морщась от боли — ткань отдирается от раны с влажным звуком. Радосвета промывает плечо серебром — щиплет, жжёт, но терпимо. Я кусаю губу, чтобы не закричать. Накладывает повязку — умело, не хуже меня.

К утру в избе тихо. Люди расходятся по домам — пересчитывают потери, радуются, что никто не умер. Радосвета дремлет на лавке, подложив под голову тулуп. Велеслав спит, повязка на культе белая, чистая, только маленькое красное пятно проступает — капиллярное кровотечение, не страшно.

Я сижу у окна, смотрю на рассвет. Небо розовеет, сосны

чернеют на фоне зари, пар поднимается от крыш — тепло выходит наружу. Северное сияние погасло, уступив место обычному утру, самому обычному, какого не было в этом мире уже много дней.

— Ты не спишь, — голос сзади. Велеслав открыл глаза, смотрит на меня.

— Не хочется.

— Боишься, что во сне придёт Стужа?

— Боюсь, что ты умрёшь, пока я сплю. И тогда моя работа пропадёт даром. Четыре операции за десять дней — это много даже для меня.

Он молчит, смотрит на потолок. Потом переводит взгляд на меня.

— Ты не боишься. Даже после всего. Даже после тварей, после крови. Ты не боишься.

— Боюсь. Очень боюсь. Но страх не должен мешать. Врач не имеет права парализоваться от страха. Иначе пациент умрёт.

За окном встаёт солнце — бледное, холодное, но светит. В избе тепло, пахнет дымом и кровью, но уже не страшно. Я сижу на лавке, смотрю на свои руки — в бинтах, в ссадинах, но живые. Они сделали сегодня то, чего не должны были уметь. Резали, шили, били топором.

Сегодня я рисковала. Не задумываясь. Не раздумывая. Увидела опасность — и бросилась. На тварь, на холод, на смерть.

В Москве я бы не бросилась. Вызвала бы охрану, полицию, скорую. Спряталась бы за спины коллег. Здесь бежала навстречу с горящей головнёй. Потому что там был ребёнок. Потому что там был он.

Велеслав засыпает. Я подхожу, поправляю повязку на культе — она немного сползла. Он не просыпается, но его правая рука сама находит мою, сжимает пальцы. Крепко, даже во сне.

Не отнимаю.

Сижу рядом, слушаю его дыхание. Ровное, глубокое. Живое.

Утро входит в избу, розовое, холодное. Я не сплю. Я жду. Не знаю чего — нового дня, новой твари, нового вызова.

Знаю только одно: я не сдамся. Судьба моя такая. Я всех спасаю. Любыми способами. Даже если для этого потребуются топор. Прямо как та добрая фея.

Глава 8. Кости говорят.

После нападения прошло пять дней. Велеслав поправлялся быстро — рана на культе затягивалась чисто, без воспаления, и он уже мог шевелить пальцами правой руки, не морщась от боли. Я меняла повязку каждое утро, проверяла швы, промывала серебряной водой. Он сидел смирно, как пациент, который привык к процедурам и перестал бояться. Иногда я ловила его взгляд — он смотрел на меня не отрываясь, долго, изучающе, и я отворачивалась первой. В Москве я бы подумала, что ему просто любопытно. Здесь я начинала понимать, что это что-то другое. Что-то, для чего у меня нет названия, потому что я запрещала себе даже думать о таких вещах.

Сегодня утром он появился раньше обычного — едва рассвело, небо за окном было серо-розовым, как операционная простыня после десятой стирки. Я только проснулась, пила взвар — голос уже не зависел от тепла, но привычка осталась, как память о том времени, когда я была немой без кружки, — когда дверь открылась и он вошёл, стряхивая снег с сапог. Снег. Первый снег в этом году лежал на его плечах, на волосах, таял и капал на земляной пол. В Москве я ненавидела первый снег — он быстро превращался в грязную слякоть, и город вставал в пробках. Здесь он был чистым, белым, нетронутым, и от этого казалось, что мир на-

чинается заново.

— Одевайся теплее, — сказал с порога. — Пойдём. Ты должна кое-что увидеть.

— Куда? — спросила я, отставляя кружку.

— Увидишь.

Радосвета, которая возилась у печи, перехватила мой взгляд, кивнула. Она знала, куда он меня ведёт, но не говорила. Только сунула мне в руки овчинный тулуп, меховую шапку из лисы и варежки из грубой шерсти. Её единственный глаз блестел — то ли от любопытства, то ли от беспокойства.

— Вернётесь к вечеру, — бросила как приказ. — Не задерживайтесь. В лесу темнеет быстро, а в темноте даже я боюсь ходить.

Мы вышли. Лес встретил холодом и тишиной. Снег только припорошил землю — тонкий слой, белый, хрустящий под ногами, как накрахмаленная простыня. Ветер северный, колючий, забирался под тулуп, щипал щёки, нос, губы. В Москве в такую погоду я вызывала такси и сидела дома с чашкой чая и ноутбуком на коленях. Здесь — шла за одноруким княжичем неизвестно куда, и это почему-то не вызывало во мне страха. Только любопытство, разогретое странным предчувствием.

Он шёл быстро — широкие шаги, сапоги утюжат снег, оставляют глубокие следы, похожие на лунки во льду. Я едва поспевала, спотыкалась на корнях, путалась в длинном по-

доле шерстяной юбки. Несколько раз хватала его за рукав, чтобы остановился перевести дыхание. Воздух холодный, сухой, лёгкие щиплет, пар изо рта валит клубами, как из трубы паровоза.

— Ты медленная, — заметил он без осуждения, даже с лёгкой усмешкой в уголке рта.

— Ты большой, — огрызнулась я, сгибаясь и упираясь руками в колени. — Я в этом теле недавно, не забыл? Ноги короче на десять сантиметров, лёгкие меньше, я не железная. В Москве я ходила пешком от метро до больницы и обратно, а здесь — по лесу, по сугробам, по кочкам.

— Железная, — он качнул головой, и снежинки посыпались с его волос. — Я видел, как ты рубилась с тварями. Ты железная. Просто медленная железная.

Не ответила. Идём дальше. Через некоторое время он замедлился, подстроился под мой шаг — специально, я заметила. Идём рядом, почти плечом к плечу. Расстояние между нами — сантиметров двадцать. Чувствую тепло его тела даже через тулуп, и это странно — такой огромный, а греет как печка. Ветер в соснах свистит на разные голоса, снег скрипит под сапогами. Запах смолы и прелой листвы — такой густой, что кружится голова. В Москве лес пах иначе — бензином от машин и шашлыками от пикников. Здесь — настоящий, дикий, первозданный. Пахнет звериной тропой и древностью, тысячелетиями, которые лежат под этим снегом.

Через час пути лес начал редеть. Сосны становились ниже,

корявее, их ветви стелились по земле, как будто им тяжело держать спину. Потом они исчезли совсем. Началась тундра — низкорослые кустарники, кочки, редкие карликовые берёзки с кривыми стволами, похожие на старух с артритом. Небо стало огромным, серым, давило сверху, сливалось с горизонтом в мутной дымке. Тишина здесь была другой — не лесной, с шорохами и птичьими голосами, а пустой, вакуумной, как в операционной после того, как выключили аппараты. Только ветер гулял над землёй, поднимал сухой снег, кружил его в воздухе маленькими смерчами.

— Почти пришли, — сказал Велеслав, показывая рукой вперёд.

Впереди — кости. Вертикальные, как стены, белые и тёмно-коричневые, покрытые мхом и лишайником. Бивни мамонтов — каждый размером с меня ростом, изогнутые, гладкие от времени и ветра, как старый мрамор в заброшенной усадьбе. Черепа с пустыми глазницами смотрели в небо, и казалось, что они следят за нами — провожают взглядами, в которых нет ничего живого, но есть память. Рёбра образовывали арки, под которыми приходилось нагибаться, проходя через естественные коридоры.

В моём мире я видела мамонтовые кости в палеонтологическом музее — за стеклом, на бархатных подушечках, с табличками «Не трогать». Экскурсовод рассказывал о том, как жили эти животные, как вымерли, как их останки находят в вечной мерзлоте. Я слушала вполуха, думая о своём — о

предстоящей операции, о невыученном билете. Здесь кости лежали так, как упали тысячи лет назад. Некоторые стояли вертикально — кто-то их поставил. Не природа. Люди. Те, кто жил здесь задолго до Радосветы, задолго до Велеслава, задолго до всех, кого я знаю.

— Лес Костей, — пояснил он, останавливаясь на краю. — Здесь захоронения древних. Никто не ходит сюда, кроме меня и колдунов. Люди боятся. Говорят, духи умерших охраняют это место.

— Почему привёл меня? — спросила я. Внутри — тревога и любопытство пополам, как перед сложной операцией, когда не знаешь, что найдёшь внутри, но знаешь — должен идти.

— Ты должна это увидеть, — он посмотрел на меня серьёзно, серые глаза почти сливались с небом. — Ты ищешь ответы. Они здесь. Я чувствую. И ты чувствуешь.

Мы пошли за ним по лабиринту. Тропа была размечена красной глиной — пятна на костях, стёртые, но видимые, если знать, куда смотреть. Без неё заблудиться — пара пустяков. Кости повсюду, они образуют стены и потолки, иногда закрывают небо целиком, и тогда становится темно, как в склепе. Звуки здесь странные — ветер свистит между костями, проходя через глазницы и трещины, создаёт низкий гул, похожий на пение. Местные говорят, это голоса умерших. У меня побежали мурашки по спине, но не от страха — от благоговения. Как в соборе, только собор этот сложен

из смерти.

Велеслав остановился перед огромным черепом — больше всех остальных, размером с мою избу. Череп Праматери, как он его назвал. Внутри — вырезанные знаки, руны, покрывавшие кость изнутри, как паутина, как вены на старческой руке. Он посмотрел на меня, отступил в сторону, давая дорогу.

— Можешь прочесть? — спросил.

Я подошла ближе. Внутри черепа было темно, но руны светились — слабо, молочным светом, пульсировали, как живое сердце. Мерно, спокойно. В моём мире я бы сказала «флуоресцирующие бактерии» или «химическая реакция с участием фосфора». Здесь — магия. Чистая, древняя, пугающая. Я чувствовала её кожей — покалывание в кончиках пальцев, как от статического электричества, только глубже, словно кто-то трогает мою душу.

Всмотрелась в знаки. Они не были похожи на древнеславянские — те я видела в книгах по истории, замысловатые, с чертами и резами, похожие на вязаные узоры. Эти — проще, быстрее, словно писала рука, привыкшая к шариковой ручке и рецептурным бланкам. Смесь латиницы и кириллицы, быстрая скоропись, почти стенография. И я узнала этот почерк. С детства. С того самого момента, как научилась писать. Потому что это был мой почерк. Те самые «а» с хвостиком вверх, «т» с перекладиной посередине, точка выше строки — всё это я выводила в школьных тетрадях, в сту-

денческих конспектах, в историях болезней.

«Та, кто придёт по железной нити, вспомнит. Ты — не первая. И не последняя. Открой Древо в ночь Карачуна, и Стужа отступит. Забудь любовь — или потеряешь мир».

Я прочитала вслух, тихо, почти шёпотом. Голос дрожал — не от холода. Глаза щипало, наворачивались слёзы, нос закладывало, как перед приступом аллергии. Я узнавала каждую букву, каждую чёрточку, каждое нажатие — где рука давила сильнее, где слабее. Это моя рука. Мой характер. Моя манера писать. Этому нельзя научиться — это врождённое, как отпечатки пальцев или рисунок радужки.

— Это моё, — прошептала я, касаясь пальцами рун. Кость под пальцами была тёплой, живой, пульсировала в такт моему сердцу. — Это я написала. Но когда? Я никогда не была здесь. В Москве я не вырезала руны на мамонтовых черепахах. Я выписывала рецепты и заполняла истории болезней.

В тот же миг, когда пальцы коснулись кости, по левому запястью пробежал ток. Опускаю взгляд — старые ожоги, сморщенная белая кожа, начали светиться. Молочным, тусклым светом, как руны на черепе. Слабо, но явственно — нити, которые я считала просто шрамами, зажглись в ответ на древнее заклинание. Или на мою кровь? Или на то, что я наконец вспомнила?

— Златоцвета, — тихо сказал Велеслав. — Легендарная целительница, которая жила тысячу лет назад. Говорят, она умела воскрешать мёртвых. И что она приходила из другого

мира. Как ты.

— Я не она, — я покачала головой, отступая на шаг. Пятка упёрлась в чей-то позвонок, я вздрогнула. — Я Аня. Анна Сергеевна Воронцова. Тридцать лет, травматолог, родилась в Москве. У меня есть паспорт, диплом, прописка в однокомнатной квартире на севере Москвы. Я не целительница из легенд.

— А душа? — он смотрел на меня в упор, не отводя взгляда. — Душа помнит? Не голова — душа. Та, что живёт под рёбрами, та, что заставляет тебя лечить, даже когда тебе страшно.

Я не ответила. Потому что внутри — странное чувство, будто я уже была здесь. Будто эти кости знакомы мне, как операционная после тысяч смен, как расположение инструментов на стерильном столе. Будто этот ветер, свистящий между рёбрами, я слышала много раз, в других жизнях, под другим небом. Будто эти руны — не чужие, а свои, родные, вырезанные моей рукой, моим ножом, моей болью.

Я снова протянула руку, коснулась рун. Они вспыхнули ярче — молочный свет стал почти белым, ослепил. Тёплые, почти горячие, как чашка свежего отвара. В голове пронеслись обрывки — лица, которых я не знаю, голоса, которых не слышала, страх, боль, а потом тепло и свет. Женщина в белом платке — та самая, из видения при падении. Мужчина с бородой, похожий на Велеслава, но старше, суровее. Девочка с косами — Милава? Нет, другая. С рыжими волосами и

зелёными глазами. Они смотрят на меня, протягивают руки. И голос — не снаружи, а внутри: «Ты обещала. Вернись».

— Я писала это, — повторила я увереннее, убирая руку. Пальцы покалывало, как после долгой работы со скальпелем, когда слишком долго держишь инструмент. — Я помню, как вырезала эти знаки. Другой рукой. Другим ножом. Но помню. Кость была мягче, чем сейчас, свежая, я давила, и она поддавалась, как воск. Пахло жжёной костью и дымом. И я плакала. Потому что знала, что умру скоро. И что вернусь. И что снова умру.

Велеслав молчал, не мешал. Только смотрел внимательно, изучающе, как врач на пациента с редким диагнозом — ищет подтверждение своим догадкам.

Я обошла череп, посмотрела на другие кости. На одной из них, в самом центре лабиринта, на рёбрах, сложенных шалашом, — железная нить. Тонкий стальной трос, вплавленный в кость, как будто вырос из неё, как дерево из земли. Блестел даже в темноте — не ржавый, не старый. Словно его положили вчера. Или сегодня утром.

Я узнала. Такие тросы используют для тарзанок в парках аттракционов. Прочные, многожильные, из нержавеющей стали, держат тонну. Я читала этикетку перед прыжком — «максимальная нагрузка 1200 кг, срок службы 5 лет». И этот — мой. С того самого прыжка. Я узнала маркировку — белая полоска краски через каждые десять сантиметров, нанесённая заводским способом, с мелкими сколами по краям.

Это моя верёвка. Та, что оборвалась. Та, что перенесла меня сюда.

В моём мире это просто трос — кусок металла, который можно купить в строительном магазине за несколько тысяч рублей. Здесь — портал. Дверь между мирами. Я не понимаю физику этого процесса. Технически, чтобы переместиться между мирами, нужна энергия, сопоставимая с ядерным взрывом. А здесь — просто обрыв верёвки. Или не просто. Или эта верёвка — не верёвка, а проводник для того, что Златоцвета построила тысячу лет назад.

— Меня позвали, — сказала я, беря трос в руки. Холодный, гладкий, металлический запах — железо и масло. Пальцы скользят по стальным жилам. — Не случайно. Я сама себя позвала. Или та, кем я была раньше. Златоцвета. Она построила это Древо, о котором говорят руны. Она создала портал. И я — её следующая жизнь. Её перерождение. Её шанс.

— Зачем? — спросил Велеслав. Голос тихий, почти благоговейный.

— Не знаю, — честно ответила я, вертя трос в пальцах. — Может, чтобы лечить Стужу. Может, чтобы спасти тебя. Может, чтобы забыть что-то, что нельзя помнить. Или чтобы вспомнить то, что забыла.

— Вспомнишь, — он кивнул. — Со временем. Всё вспомнишь.

Сзади — шорох. Я обернулась. Из-за ребра мамонта, пригнувшись, выглядывала Милава. Глаза испуганные, круглые,

как плошки, косички растрёпаны, на одной — тряпичная лента развязалась и болтается. Лапти мокрые, на щеке — грязь и сухой мох. Она замерла, как мышь перед котом.

— Ты зачем здесь? — строго спросила я, чувствуя, как внутри поднимается гнев и страх. Она могла заблудиться. Замёрзнуть. Попасть в лапы зверя. Или хуже — наткнуться на то, что не предназначено для детских глаз.

— Я... я хотела помочь, — прошептала она, опуская голову. Голос дрожал — то ли от холода, то ли от страха. — Ты ушла, а я подумала, вдруг тебе нужна будет помощь. Раны перевязывать или ещё что. Я умею. Я смотрела, как ты делаешь. И пошла за вами. Я умею тихо ходить, вы не слышали.

— Это опасно, — я подошла к ней, взяла за плечи, посмотрела в глаза. — Лес Костей — место силы. Здесь можно потеряться навсегда. И не в прямом смысле — душой потеряться. Не смей больше.

— А ты не смей уходить без меня, — она надула губы, но в глазах — страх и обида, и слёзы на ресницах. — Я теперь твоя ученица. Ученицы ходят за учителями. Это закон.

Велеслав усмехнулся — уголок рта поднялся вверх.

— Упрямая девчонка, — сказал он. — Как ты. Яблоко от яблони недалеко падает.

— Она не моя дочь, — отрезала я.

— По духу — дочь, — он покачал головой, и снег посыпался с волос. — Ты её мать. Та, кто учит, кто защищает, кто не бросает. Это важнее крови.

Милава подбежала, схватила меня за руку. Ладошка холодная, грязная, но цепкая, пальцы впиваются в мои, как клещи.

— А что тут написано? — кивнула на руны, заглядывая в череп. — Про железную нить? Про Древо? Я хочу знать.

— Тебе рано, — сказала я.

— Вечно вы, взрослые, — она вздохнула с такой обидой, будто ей не одиннадцать, а сорок. — Ничего не говорите. Я же не маленькая. Я уже видела Стужу. Я видела тварей. Я не боюсь.

— Маленькая, — поправила я. — Поэтому слушайся и не лезь. Когда вырастешь — узнаешь.

Велеслав посмотрел на неё, потом на меня, потом на небо, которое уже начало темнеть с краёв.

— Надо возвращаться, — сказал он. — Скоро темнеет. А в темноте Лес Костей не прощает чужаков. И своих не всегда прощает.

Мы пошли обратно через лабиринт. Милава не отставала, задавала вопросы — что это за кости, кто здесь жил, почему руны светятся, почему черепа такие большие, почему Велеслав знает дорогу. Я отвечала коротко, думая о своём. Велеслав шёл впереди, широкий, сильный, однорукий. Повязка на культе белела в сумерках, снежинки таяли на его волосах, оставляя маленькие капли.

— Ты не ведьма, — вдруг сказала Милава, когда мы вышли из Леса Костей. — Ты — как моя мама. Она тоже умела

лечить. Травами, заговорами. И её убили, когда я была маленькая.

Я остановилась, посмотрела на девочку. В её глазах — боль, которую она прятала за дерзостью и любопытством. Потеря матери, о которой она не говорила вслух.

— Как её убили? — спросила я тихо.

— Не знаю, — Милава покачала головой. — Я маленькая была. Помню только, что она ушла за травами и не вернулась. А потом пришли люди с факелами, сказали, что она колдунья, и сожгли её избу. Мы с папой убежали в лес. Потом пришли сюда.

Она смотрела на меня снизу вверх, и в её взгляде было нечто большее, чем детская благодарность.

— Ты не ведьма, — повторила она. — Ты просто лечишь. Как мама. Только не травами, а ножом и серебром.

— Да, — я обняла её, прижала к себе. Худенькая, костлявая, пахнет дымом и лесом. — Я просто лечу. И ты научишься.

Она кивнула, уткнулась носом мне в живот. Я погладила её по голове.

Велеслав смотрел на нас, молчал. В его глазах — что-то тёплое, чего я раньше не видела.

К вечеру мы вернулись в святилище. Снег шёл сильнее, белые хлопья кружились в воздухе, оседали на крышах, на частоколе, на спине Велеслава. Радосвета встретила у ворот, окинула нас взглядом — всех троих.

— Ужин готов, — сказала. — Мойте руки. Милава, иди переодевайся, ты мокрая. Простынешь — Ане лечить.

— Я не замёрзла, — возразила девочка.

— Я сказала — переодевайся, — Радосвета строга, но в голосе — забота.

В избе было тепло, пахло щами и свежим хлебом. Милава прижалась ко мне, уткнулась носом в живот, пахла лесом и дымом и немного потом. Я погладила её по голове, путанные волосы, тощие косички. Внутри становилось спокойнее. Теплее.

— Завтра начну учить тебя травам, — сказала я. — Но сначала — выучить, какие нельзя трогать. Ядовитые опаснее зверей.

— А я не боюсь, — она нахмурилась.

— Это плохо. Бояться надо. Страх заставляет быть осторожной. Врач без страха — труп. И его пациенты — тоже.

Она посмотрела на меня, кивнула. Взрослая не по годам.

Велеслав сидел на лавке, смотрел на меня. В его взгляде было что-то новое, чего я не могла прочесть. Не боль, не усталость, не благодарность. Что-то более глубокое, тёплое, пугающее.

— Ты завтра придёшь? — спросила я, не глядя.

— Приду, — ответил он. — Куда я денусь. Ты меня к себе привязала. Не ниткой — серебром.

— Лечила, — поправила я. — Не путай.

— Не путаю, — он усмехнулся. — Я знаю, что говорю.

Мы ужинали молча. За окном темнело, северное сияние разливалось зелёным, текло по небу, как краска по воде. Я смотрела на него и думала о рунах, о тресе, о том, что я — не первая и не последняя. О том, что Златоцвета была здесь до меня, страдала, любила, теряла. И что после меня будет кто-то ещё.

Но сейчас я здесь. Я живу, дышу, лечу. Я вижу этот свет, этот снег, этого человека. И я не хочу забывать. Ничего.

— Ты чего задумалась? — Милава потянула меня за рукав.

— Ничего, — я погладила её по голове. — Ешь давай. Каша стынет.

Она вернулась к еде, громко чавкала. Велеслав смотрел на меня ещё минуту, потом перевёл взгляд на огонь. Печь потрескивала, дрова стреляли смолой.

Первый раз за долгое время я чувствовала, что могу остаться здесь. Не потому, что некуда бежать. А потому, что хочу.

Глава 9. Первая невеста

Десять лет назад. Южное княжество. Кремль на высоком холме, стены дубовые, рубленые, с башнями по углам. Внутри — терем князя, двухэтажный, с резными наличниками, крытый тёсом. На площади перед теремом — столы для свадебного пира. Готовятся три дня. Пекут караваи, солят мясо, точат ножи. Княжич Велеслав ждёт свою невесту.

Милана. Ей двадцать, ему двадцать два. Она красивая — волосы рыжие, как листья осенью, глаза зелёные, как мох у ручья, голос звонкий, смех колокольчиком. Её любят все — от малых детей до старых ведуний. Она умеет петь, плясать, утешить плачущего ребёнка, уговорить упрямого коня. Велеслав любит её с детства — они росли вместе, их отцы дружили, сосватали их, когда им было по десять. Я слушаю его рассказ и представляю эту девушку. Рыжие волосы, зелёные глаза. В Москве я таких не встречала — или не замечала, занятая своими пациентами и операциями. Интересно, если бы я осталась в своём мире, вышла бы замуж? Скорее всего, нет. Я даже не помню, когда была на свидании в последний раз. Только смены, пациенты, кофе в пластиковых стаканчиках.

Утро свадьбы. Небо чистое, солнце светит — редкость для этих земель, где небо обычно серое, низкое, давящее, как потолок операционной. Велеслав стоит у алтаря в белой рубаше,

расшитой серебром. Ждёт. Сердце колотится — не от страха, от счастья. Он смотрит на дверь, откуда должна выйти Милана. Думает: «Сегодня мы станем мужем и женой. Никто нас не разлучит». Милана идёт по ковру, улыбается, в руках — букет полевых цветов. Гости шепчутся: «Какая красивая пара», «Боги благословили их», «Княжич счастлив».

Она доходит до алтаря. Он берёт её за руку. Пальцы тёплые, чуть дрожат. От неё пахнет летом — мёдом, травой, чем-то сладким. Я вдыхаю этот запах вместе с ним — хотя знаю, что его нет, что это просто слова. Но я чувствую, как он тогда был счастлив. Как верил, что всё будет хорошо. Как ошибался.

— Не бойся, — шепчет он. — Я с тобой.

— Не боюсь, — отвечает она. — С тобой я ничего не боюсь. Даже смерти.

Жрец начинает обряд. Читает молитвы, связывает их руки лентой — красной, шерстяной, чтобы связь была крепкой. Велеслав смотрит на Милану — она прекрасна, её глаза блестят, щёки розовые, губы улыбаются. Он думает: «Это самый счастливый день в моей жизни. Я запомню его навсегда».

А потом небо темнеет. Не постепенно — резко, будто кто-то накрыл солнце чёрным плащом. Ветер стихает, воздух становится плотным, тяжёлым, холодным. Люди на площади замирают, смотрят вверх. Кто-то крестится, кто-то шепчет молитвы древним богам. Дети плачут, женщины хватают их на руки.

Стужа.

Она приходит не как ветер и не как снег. Она приходит как дыхание — ледяное, мёртвое, беззвучное. Воздух превращается в иглы, они впиваются в кожу, в глаза, в лёгкие. Люди падают, хватаются за горла, за сердце. Кто-то кричит, кто-то молится, кто-то просто застывает с открытым ртом. В Москве я видела такое только в кино — массовые сцены паники. Здесь это реальность. Здесь люди умирают не от пуль и не от ножей, а от холода, который приходит из ниоткуда.

— Бегите! — орёт жрец. — В избы! Спасайтесь!

Но поздно. Стужа уже здесь. Она течёт по земле белым туманом, замораживает всё, к чему прикасается. Трава хрустит под ногами, превращаясь в лёд. Деревья покрываются инеем за секунду. Камни трескаются от холода. Люди замирают в неестественных позах, и их лица покрываются тонкой ледяной коркой. Я представляю это — и внутри становится холодно. Не от ветра, от осознания: в этом мире смерть может прийти в любую минуту. И никто не успеет вызвать скорую. Никто не сделает укол адреналина. Никто не проведёт реанимацию.

Милана сжимает руку Велеслава. Её пальцы становятся холодными, но она не отпускает.

— Беги, — шепчет. — Я задержу её.

— Что? — он не понимает. Голос не слышится, слова застревают в горле.

— Уходи! — она вырывает руку, отталкивает его с силой,

которой он от неё не ожидал. — Я задержу! Уходи, спасайся! Не дай ей забрать нас обоих!

— Милана, нет!

Она выбегает навстречу Стуже. Раскидывает руки в стороны, будто хочет обнять её, остановить грудью, закрыть собой. Её платье развевается, рыжие волосы летят по ветру. Велеслав бежит за ней, но не успевает. Стужа накрывает Милану — и она застывает. За секунду. С открытыми глазами, с протянутыми руками, с улыбкой, которая не успела сойти с губ. Лёд покрывает её кожу, волосы, одежду. Она превращается в статую. Красивую, страшную, мёртвую.

Велеслав кричит. Кричит так, что лопаются сосуды в горле, изо рта идёт кровь. Хватает топор — чей-то, брошенный на земле кем-то из охраны. Бьёт по льду. Ледяная крошка летит в лицо, режет щёки, оставляет глубокие царапины. Бьёт снова и снова, пока топор не выскальзывает из рук — потому что его левая рука тоже застывает. Лёд поднимается от пальцев к запястью, от запястья к локтю. Он не чувствует боли — только холод, который пожирает его заживо, поднимается выше, к плечу, к сердцу.

Кто-то хватается его сзади, оттаскивает. Он вырывается, падает, ползёт к Милане на коленях, оставляя кровавые следы на замёрзшей земле. Но Стужа уже ушла — так же внезапно, как пришла. Оставила после себя мёртвую тишину, иней на деревьях и ледяную статую девушки в свадебном платье. И его руку — мёртвую, чёрную, которую уже не спасти.

Велеслав сидит перед ней три дня. Не ест, не пьёт, не спит. Смотрит на её застывшее лицо, на открытые глаза, на улыбку, которая не успела сойти с губ. Ему кажется, что если он будет сидеть достаточно долго — лёд растает. Если он будет верить — она оживёт. Если он не отойдёт — Стужа вернётся и заберёт и его, и они будут вместе навсегда.

На третий день приходит отец — южный князь, сухой, жёсткий, с седой бородой, с холодными глазами, в которых нет жалости. Смотрит на сына, на статую, на чёрную от крови и мороза руку, которую уже не спасти.

— Увезите его, — говорит страже. — Отрежьте руку, перевяжите. И увезите на Север. Подальше. Чтобы я его не видел. Чтобы он не позорил род.

Велеслав не сопротивляется. Его поднимают, тащат в телегу. Он смотрит на Милану до последнего — пока она не скрывается за поворотом дороги. Её лицо — спокойное, красивое, ледяное — снится ему потом десять лет.

Её статую не трогают. Она остаётся стоять на площади перед теремом. Лёд не тает — ни в жару, ни в холод, ни под дождём, ни под солнцем. Говорят, Стужа забрала её в своё сердце, а здесь оставила только оболочку. Пустую, красивую, ледяную. Говорят, она ждёт своего часа. Говорят, она ещё вернётся.

Велеслав не возвращается в южное княжество уже десять лет. Иногда ему снятся сны — Милана стоит перед ним, протягивает руки, зовёт. Он просыпается с криком, в холодном

поту, и кулья болит так, будто её отрезали только вчера. И снова засыпает — чтобы снова увидеть её.

Аня сидит на лавке, слушает. Велеслав рассказывает сухо, коротко, будто читает отчёт о проделанной работе. Но я вижу — его пальцы сжимают край стола так, что костяшки белеют, а дерево, кажется, вот-вот треснет. Кулья дёргается — нервный жест, который он не может контролировать, хотя прошло уже десять лет. Голос ровный, но в нём — боль, которую он не может спрятать. В Москве я слушала такие рассказы от пациентов. Они говорили о потерях — о детях, которые умерли у них на руках, о мужьях и жёнах, которые ушли и не вернулись. У них были такие же глаза — пустые, затравленные, с надеждой, которую они сами не признают. Я слушала, кивала, подписывала направления к психологу. А здесь нет психолога. Есть только я и мои руки.

— Я винил себя, — говорит он, глядя в огонь. — Думал, если бы я был быстрее, сильнее — спас бы. Если бы не стоял как дурак у алтаря, а побежал раньше. Если бы топор был острее. Если бы я не замер на месте, когда она выбежала. Если бы я держал её крепче. Если бы я крикнул раньше.

— Ты не мог её спасти, — тихо отвечаю я. — Стужа сильнее одного человека. Даже очень сильного. Даже такого, как ты.

— Мог, — он качает головой. — Должен был. Я её жених. Я обещал защищать её. Клялся перед богами. И не защитил.

— Ты винишь себя. Думаешь, если бы ты был сильнее — спас бы.

— Да, — он не отводит взгляд от огня. — Каждый день думаю. Каждую ночь. Даже когда не думаю — она приходит во сне и напоминает.

Вспоминаю свои потери. Бабушку, которая умерла у меня на руках от рака поджелудочной. Я была на первом курсе, ничего не умела, даже обезболивающее не могла подобрать правильно. Сидела у её кровати, держала за руку, и чувствовала, как пульс становится слабее, реже, пока не останавливается совсем. И тоже винила себя. Думала: если бы я училась лучше, если бы поступила раньше, если бы заставила её пойти к врачу не полгода назад, а год — может, успели бы. Может, она была бы жива. Эта боль не уходит. Она просто затихает на время, а потом возвращается. Как его боль.

— Это неправда, — говорю я. — Ты не бог. Ты человек. Человек не может победить Стужу в одиночку. Даже с топором, даже с верой. Она сильнее. Она древнее. Ты не виноват.

— А кто виноват? — он поворачивается ко мне. В его глазах — не вопрос. Обвинение. Себе. Миру. Богам.

— Никто, — пожимаю плечами. — Иногда никто не виноват. Просто случается. И ты ничего не можешь с этим сделать, кроме как жить дальше.

— Как жить дальше, если она там? Если она ждёт? — его голос срывается, но он быстро берёт себя в руки.

— Она не ждёт, — тихо говорю я. — Это лёд. Это память.

Ты сам сказал — Стужа оставила только оболочку. Милана в сердце Стужи. Это не она, это её тень. Настоящая Милана умерла в тот день. А ты держишься за призрак.

Он молчит. Потом переводит взгляд на меня.

— Я и сейчас слаб. Я боюсь. Стужа придёт снова. И заберёт тебя. Ты — дитя метели. Ты нужна ей. Она не остановится.

— Не заберёт, — отвечаю я. — Я не Милана. Я умею драться. Скальпелем. И топором, если надо. И я не боюсь тебя терять — потому что я врач и делаю всё, чтобы пациенты не умирали. Даже если это глупо. Даже если это бесполезно.

— Ты не боишься смерти?

— Боюсь. Но не своей. Я боюсь, что пациент умрёт у меня на руках. Что я не успею. Что сделаю что-то не так. Это страшнее любой собственной смерти. Потому что чужую смерть ты будешь помнить всегда.

Он смотрит на меня долго. Потом его лицо меняется — уголки губ поднимаются, в глазах появляется что-то живое, чего я раньше не видела. Он смеётся. Впервые за десять лет, наверное. Горько, хрипло, как кашель курильщика, но смеётся.

— Ты невозможная, — говорит. — Никогда таких не встречал.

— Это комплимент? — усмехаюсь я.

— Наверное, — он качает головой. — Не знаю. Я не умею говорить комплименты.

— Научишься, — пожимаю плечами. — У тебя будет время. Я хороший учитель.

Мы сидим в тишине. Печь потрескивает, за окном темнеет. Небо горит зелёным — мерно, спокойно, течёт по небу, как краска по воде. В избе тепло, пахнет дымом и травами. Я чувствую, как он расслабляется — плечи опускаются, дыхание становится глубже, тяжесть уходит. Я смотрю на его руки — правую, сильную, с татуировкой, и культю, перемотанную чистой повязкой. Эти руки убивали тварей. И эти же руки перевязывали мою рану. В них есть нежность, которую он сам в себе не замечает.

— Ты не жалеешь, что спас меня? — вдруг спрашиваю я.
— Что выкрал Зимню? Что таскаешься со мной два года?

— Нет, — отвечает он без колебаний. — Ты первая, кто не смотрит на меня с ужасом. Ты первая, кто не боится прикоснуться ко мне. Ты первая, кто назвала меня человеком.

— А ты себя кем называешь?

— Проклятием, — он смотрит на огонь. — Пустым местом. Тем, кто приносит смерть.

— Ты не приносишь смерть, — качаю головой. — Ты её встречаешь. И держишься. Это не проклятие — это сила.

— Сила, — он повторяет слово, будто пробует на вкус. — Может быть.

Позже, когда Велеслав уходит, Радосвета подсаживается ко мне.

— Слышала? — спрашиваю я.

— Слышала, — она кивает, поправляя повязку на глазу.
— Он никогда никому этого не рассказывал. Даже мне. Даже отцу, наверное.

— Почему?

— Потому что ты ему веришь. Ты смотришь на него и не видишь проклятия. Ты видишь человека. Ты первая, кто посмотрел на него без страха. И он тебе поверил.

Я молчу. Внутри — странное чувство. Будто я и правда сделала что-то важное. Не операцию, не спасение. Просто поверила.

— Он не любил Милану, — вдруг говорит она. — Он любил идею — что он может защитить. Что он сильный, что он справится. А когда не справился — сломался.

— Откуда ты знаешь?

— Я старая, — она усмехается, обнажая беззубые дёсны.
— Я видела много пар. Тех, кто любит по-настоящему, и тех, кто любит себя в любви. Милана была для него наградой. Доказательством, что он хороший, что он достоин. А ты...

— Что я?

— Ты — вызов, — она смотрит на меня. — Ты не боишься его. Ты лечишь его, даже когда он рычит. Ты спасла ему жизнь. Не потому, что он княжич, не потому, что он сильный, а потому что он человек. И он это чувствует.

— Он не любит меня, — говорю я. — Он просто... привык. Я лечу его, кормлю, перевязываю. Он привык, что я рядом.

— Привыкают к вещам, — она качает головой. — К тулупу привыкают, к кружке привыкают. А к тебе он тянется. Это другое. Ты когда-нибудь видела, чтобы он с кем-то разговаривал так, как с тобой? Чтобы он смеялся? Чтобы он рассказывал о Милане?

Я не отвечаю. Потому что не видела. Потому что он ни с кем не разговаривает. Он вообще молчит. Только со мной.

— А тебя он любит по-настоящему, — добавляет она. — Поэтому и боится сильнее. Потерять тебя страшнее, чем потерять Милану. Потому что Милана была мечтой. А ты — явь. Мечту можно хранить в памяти, она не умирает. А явь можно потерять навсегда.

Я молчу долго. Потом спрашиваю:

— Как ты думаешь, он сможет полюбить снова?

— Уже, — она усмехается. — Только сам ещё не понял. И ты не поняла. Вы оба слепые, как кроты.

Она уходит в сени, оставляет меня одну. Я сижу, смотрю на огонь, и внутри — странное тепло. Не от печи. От его слов. От того, как он смотрел на меня, когда смеялся. От того, как его голос дрогнул, когда он сказал «я боюсь тебя потерять».

В Москве я не верила, что меня можно полюбить по-настоящему. Мать бросила в роддоме, даже имени не дала — назвала бабушка. Бабушка умерла, когда я была на первом курсе. Коллеги уважали мои руки, но не меня. Я была удобной — всегда на смене, всегда готова подменить, никогда не

жаловалась, не просила помощи. Я думала, что любовь — это для других. Для тех, кто умеет быть слабыми. Для тех, кто умеет просить.

А здесь — этот хмурый, однорукий, проклятый княжич смотрит на меня так, будто я — единственное живое в его мёртвом мире. Он не говорит красивых слов. Он не дарит цветов. Он приносит мясо и дрова. Он сидит молча и смотрит на огонь. Но когда он уходит — в избе становится холоднее. Когда он не приходит — я выглядываю в окно. И это не профессиональный интерес. Это то, чего я боялась всю жизнь. Привязанность. Любовь. Страх потерять.

Я начинаю верить, что могу остаться здесь. Не потому, что некуда бежать. А потому, что хочу быть с ним. Потому что он согрел меня. Потому что он первый, кто сказал «не уходи». Потому что он смотрит на меня как на человека, а не как на врача, не как на инструмент. В Москве я была нужна только как специалист. Здесь я нужна как человек. И это меняет всё.

Засыпаю с этой мыслью. Сено шуршит под спиной, печь уже холодная, но мне тепло. Не от печи, не от взвара. От того, что я не одна. От того, что меня ждут. От того, что я, кажется, начинаю понимать, зачем пришла в этот мир. Не лечить Стужу. Не спасать всех. А просто — быть рядом с ним. Смотреть на огонь. Дышать одним воздухом. Жить.

За окном зелёное сияние течёт по небу. Я закрываю глаза. Завтра новый день. Он придёт. И я буду ждать. Не потому, что он пациент. А потому, что без него пусто. Как в Москве

— пусто, холодно, хотя везде люди и машины. А здесь — тишина, снег, и этот хмурый княжич, который научил меня, что тепло может быть не только от батареи.

Глава 10. Серебряная нить.

После рассказа о Милане прошло два дня. Велеслав стал приходить чаще — не только вечерами, но и утром, приносил зайцев, рыбу, однажды даже притащил мешок сушёных грибов. Я молча принимала дары, проверяла его культю, меняла повязку. Рана заживала хорошо — серебро и мёд сделали своё дело, швы держали, отёк спал. Он почти не морщился, когда я надавливала на края рубца, только смотрел куда-то в сторону, будто думал о своём.

Сегодня утром я проснулась раньше обычного. В избе было тихо, Радосвета ещё спала в сенях — слышно было её мерное похрапывание, как у старого кота. Я села на лежанку, обхватила колени руками и задумалась.

Десять дней в этом мире. Десять дней я лечила людей, шила раны, промывала серебром. Десять дней я училась жить без антибиотиков, без МРТ, без операционной, без дежурной медсестры, которая подаст инструменты. И, кажется, начала понимать, как здесь всё работает. Магия Живы течёт по жилам мира, как кровь по венам. Чистая — та, что лечит. Мёртвая — та, что замораживает. Серебро — проводник, мёд — усилитель. В моём мире были антисептики и антибиотики, вакцины и сыворотки, которые создавались в лабораториях годами. Здесь — серебро и молитвы. Технически то же самое, но механизм другой. Не химия — магия. Не

рецепторы бактерий — воля богов или самой жизни.

Вспомнила свою первую операцию в Москве. Мне было двадцать четыре, я тряслась как осиновый лист, но профессор сказал: «Не бойся. Ты знаешь анатомию. Твои руки знают, что делать. Просто доверься им». Я доверилась. И всё получилось. Здесь то же самое — только вместо скальпеля нож, вместо антисептиков серебро. Но руки помнят. И голова помнит. Наверное, поэтому я не сошла с ума от всего этого — потому что суть осталась та же. Лечить. Спасать. Не навредить.

— Ты не спишь? — Радосвета вошла, шаркая лаптями. — Рано встала. Солнце ещё не взошло.

— Думаю, — ответила я.

— О чём?

— О том, как здесь всё работает. О магии. О Живе. Я хочу понять законы этого мира, чтобы лечить лучше.

Она села напротив, поправила повязку на глазу.

— И что поняла?

— Поняла, что серебро — это антисептик. Мёд — регенератор. Кровь — носитель памяти. И что чистота — основа всего.

— Чистота? — она подняла бровь.

— Да. Грязными руками можно убить пациента быстрее, чем любой заговор. Микробы — невидимые твари — живут на коже, на инструментах, на повязках. Если их не убить — рана начнёт гнить. Серебро их убивает. Но сначала надо

смыть грязь. В моём мире это называется асептика и антисептика. Здесь — просто мытьё и серебро.

— Странные у тебя слова, — она покачала головой. — Но я поняла. Чистота важна. Я запомню. Буду теперь всех заставлять мыться перед едой, как ты.

После завтрака пришла Милава. Девочка выглядела лучше, чем вчера — щёки розовые, глаза блестят, косички заплетены ровнее. Отец её уже ходил без клюки, нога заживала. Она прибежала не за лекарством — просто так. Посидеть рядом, посмотреть, как я работаю.

— Начнём урок, — сказала я, усаживая её на лавку. — Первое правило врача: руки должны быть чистыми. Всегда. Перед тем как прикоснуться к пациенту. После того как прикоснулся. После того как снял повязку. После того как зашил. Поняла?

— Поняла, — она кивнула, глядя на свои ладони.

— Второе правило: инструменты должны быть чистыми. Кипятить их перед каждой операцией. И серебро — в огонь, чтобы убить всё живое.

— А зачем кипятить? — спросила она.

— Потому что кипяток убивает невидимых тварей. Тех, что живут на ножах и иглах. Если не убить — они попадут в рану и начнут гнить. Рана загноится, поднимется жар, человек умрёт.

— Невидимых тварей? — Милава округлила глаза.

— Да. Они везде. На руках, на одежде, в воздухе, на еде.

Но их можно убить кипятком, серебром, мёдом. Или мылом.

— Мылом?

— Щёлоком. И водой. И трением. Сильно тереть, смывать грязь, потом ещё раз тереть.

Она посмотрела на свои грязные ладони, на ногти с чёрной каймой. Покраснела.

— Надо было мыть руки, — пробормотала она.

— Надо, — согласилась я. — И ногти стричь. Под ногтями грязи больше всего. Там живут самые опасные твари.

Я протянула ей ножницы — маленькие, кривые, но острые. Милава взяла их, посмотрела на свои пальцы, потом на меня.

— Поможешь?

Я кивнула, взяла её руку в свою. Ногти у неё были короткие, но под ними чернела въевшаяся грязь — земля, сажа, непонятно что. Я аккуратно подрезала края, стараясь не задеть живое. Потом велела вымыть руки с щёлоком. Милава бегала к кадке с водой, тёрла ладони, фыркала, но делала старательно — даже мыла между пальцев, как я показывала.

— Хорошо, — сказала я, когда она вернулась, протягивая чистые розовые ладони. — Теперь запомни: прежде чем лечить кого-то, вымой руки. Даже если спешить. Даже если кажется, что некогда. Лучше потерять минуту на мытьё, чем потерять пациента из-за заражения.

— Запомнила, — она кивнула, рассматривая свои пальцы.

— А теперь пойдём к больным. Будешь смотреть и запо-

минать.

Мы вышли на площадь. Люди уже ждали — четверо. Женщина с больной рукой — ожог, волдыри, кожа красная, слезла местами. Мужчина с кашлем — хрипит, дышит тяжело, лицо серое. Девочка с ангиной — горло красное, гнойные пробки на миндалинах, температура. Старуха с ячменём на глазу — веко опухло, красное, болит. Я принимала их по очереди, объясняла Милаве, что делаю и зачем.

— Смотри, — говорила я, промывая ожог серебряной водой. — Серебро убивает заразу. Мёд помогает коже расти заново. Повязка должна быть чистой, чтобы не попала новая грязь.

— А почему не травы? — спросила Милава. — Мать Радосвета всегда травами лечит.

— Травы тоже помогают. От кашля — крапива и зверобой. От боли — кора ивы. От жара — малина и липа. Но раны и ожоги лучше лечить серебром и мёдом. Это быстрее и надёжнее. Травы не проникают так глубоко.

— А откуда ты знаешь?

— Училась, — коротко ответила я. — Десять лет.

— Десять лет? — она округлила глаза.

— Десять лет. В моём мире, чтобы стать врачом, нужно много учиться. Читать книги, смотреть на других врачей, тренироваться на муляжах, потом лечить людей под приглядом старших. А потом уже самостоятельно.

— Сложно, — вздохнула она.

— Сложно, — согласилась я. — Но оно того стоит. Когда видишь, как человек, который не мог ходить, встаёт и идёт — понимаешь, что всё было не зря. Это лучше любой похвалы.

Милава посмотрела на меня с восхищением. В её глазах — не страх, не удивление. Уважение. Такое же, какое я видела у интернов, когда показывала сложные операции.

После приёма последнего пациента, когда Милава ушла помогать Радосвете, я села за стол, взяла лист бересты и уголёк. Начала записывать — схемы лечения, рецепты, пропорции, последовательность действий при разных ранениях. В Москве я вела электронные карты и конспекты в ноутбуке. Здесь — береста и уголь. Неудобно, но привыкнуть можно.

В дверь постучали. Не вошли — стучали костяшками, требовательно, с нажимом. Я подняла голову, отложила уголёк.

— Войдите.

Дверь открылась. На пороге стоял незнакомый мужчина — лет пятидесяти, в длинном тёмном плаще, с посохом в руке, украшенным резными рунами. На шее — деревянные амулеты с выжженными знаками, такие же я видела у Радосветы. Глаза маленькие, колющие, смотрят из-под нависших бровей, как у хищной птицы. За ним толпились ещё двое — помоложе, в таких же тёмных одеждах, с такими же амулетами. Ведуны. Местные знахари. Те, чей хлеб я отбиваю.

— Ты та самая немка, что лечит серебром? — спросил старший, не переступая порога.

— Я — та самая, — ответила я, вставая. — А ты кто?

— Борислав, ведун рода Белого Лося, — он шагнул внутрь, оглядел избу с пренебрежением. — Ходят слухи, что ты отнимаешь у нас хлеб. Что люди идут к тебе, а не к нам. Что ты лечишь не по-нашему, не молитвами, не травами.

— Люди сами выбирают, к кому идти, — сказала я спокойно. — Я никого не заставляю.

— Ты не лечишь, — он покачал головой, и амулеты на его груди звякнули. — Ты колдуешь серебром. Это не наше ремесло. Это ересь. Так не делают. Наши боги не любят, когда им не молятся.

— Ересь? — я усмехнулась. — Я просто промываю раны и накладываю швы. Это называется хирургия. В вашем мире её не знают, но это не делает её ересью.

— Ты не молишься богам, — он прищурился. — Ты не читаешь заговоров. Ты режешь людей, как мясник. Это не лечение. Это кошунство. Ты оскверняешь тело, которое дали боги.

Внутри начала подниматься злость. Холодная, как адреналин перед сложной операцией. В Москве я спорила с коллегами, с администрацией, с родственниками пациентов. Но чтобы меня обвиняли в кошунстве за то, что я спасаю жизнь? Я встала из-за стола, посмотрела ему прямо в глаза.

— Скажи это отцу Милавы, — сказала я. — Он лежал с гниющей ногой и не мог ходить. Ваши заговоры не помогли. Я вырезала гной и наложила швы. Через три дня он встал.

Это кощунство?

— Ты не знаешь наших обычаев, — Борислав не отступал, но его голос стал тише. — Ты чужая. Тебя прислала Стужа. Ты проклята.

— Если я проклята, почему люди выздоравливают? — спросила я. — Почему девочка, которой я вскрыла панариций, не умерла от заражения? Почему твои заговоры не помогли, а моё «кощунство» — помогло?

Борислав замолчал. Его помощники переглянулись, переступили с ноги на ногу.

— Ты ответишь за это, — сказал он наконец. — Я донесу южному князю. Он узнает, что в его землях появилась колдунья, которая режет людей без молитв, которая не чтит богов. Он придёт за тобой. И Велеслав не защитит — он сам изгнанник.

— Придёт — посмотрю, — пожала я плечами, хотя внутри похолодело. — А пока — уходи. У меня много работы.

Борислав развернулся, не прощаясь. Его помощники потянулись за ним. Дверь хлопнула так, что задребезжала слюда в окне.

Я села на лавку, выдохнула. Руки дрожали — не от страха, от напряжения. Радосвета вышла из сеней, покачала головой.

— Опасный человек, — сказала она. — Он не простит. Будет мстить. Я знаю его — он злопамятный.

— Пусть, — я пожала плечами, пытаюсь унять дрожь в

пальцах. — Я не боюсь.

— Напрасно, — она села рядом. — Он может многое. На-
травить людей, наговорить князю. Ты здесь чужая. У тебя
нет защиты.

— Есть, — я посмотрела на дверь. — Велеслав.

— Велеслав — изгнанник, — она вздохнула. — У него нет
власти. Он может защитить тебя только силой.

— А я умею защищать себя, — ответила я. — Скальпе-
лем. И топором, если надо.

Она усмехнулась, но тревога не ушла из её глаза.

Ближе к вечеру, когда я уже собиралась закрывать дверь,
в избу ворвался шум. На площади кто-то кричал. Я выгля-
нула — мужики тащили под руки раненого. Кровь текла по
лицу, рубаха разорвана. Позади шёл незнакомый мужик —
коренастый, широкоплечий, с рыжей бородой и маленьки-
ми хитрыми глазами. Я узнала его — это был Храбр, кузнец
из южного княжества, тот самый, что приходил смотреть на
мою работу несколько дней назад. Раненый, которого тащи-
ли, был его братом — похож лицом, та же рыжая борода,
только моложе.

— Лечи, — бросил Храбр, вваливаясь в избу. — Брата
моего лечи. Топором по руке. Три дня уже, не заживает.

Я подошла к раненому. Рука распухла, кожа багровая, из
повязки сочится гной с неприятным запахом. Сняла повяз-
ку — под ней гниющий порез, идущий от запястья к локтю.
Кость не задета, но мышцы повреждены, и начался сепсис. В

моём мире — срочная операция, антибиотики внутривенно, капельницы. Здесь — серебро, нож и надежда.

— Воду кипятят, — сказала я Милаве, которая уже стояла рядом. — Серебро, мёд, чистые тряпицы. Быстро.

Девочка побежала. Я начала промывать рану. Храбр стоял в углу, смотрел. Я чувствовала его взгляд — тяжёлый, оценивающий.

— Кто учил тебя лечить? — спросил он.

— Никто, — ответила я, не отрываясь от дела. — Сама научилась.

— Врёшь.

— Не вру, — я подняла глаза. — В моём мире врачей учат. Десять лет. В школах, больницах, на живых людях. Не верь — не надо. Мне всё равно.

Он замолчал. Я продолжила промывать рану серебром. Серебро светилось ярко — магия чувствовала заражение и боролась с ним. Гной выходил, рана начинала очищаться. Я убирала омертвевшие ткани, кусочек за кусочком. Милава подавала мне инструменты, не дрожала, хотя видела, как я режу живого человека без наркоза. Брат Храбра стонал, но терпел — я дала ему закусить ремень.

— Держи, — сказала я Храбру. — Не давай дёргаться.

Храбр подошёл, взял брата за здоровую руку. Его пальцы — толстые, мозолистые, в шрамах — сжались на запястье.

— Если он умрёт — я убью тебя, — сказал он.

— Если он умрёт — ты будешь первым в очереди, — от-

ветила я. — Помолчи и держи.

Я накладывала швы — серебряными нитями, часто, мелко, как учили на курсах гнойной хирургии. Каждый стежок — молитва. Каждый стежок — надежда. Пот заливал глаза, я вытирала его плечом. Руки не дрожали — они делали то, что умели лучше всего.

Через час операция закончилась. Я перевязала руку, наложила повязку с мёдом.

— Готово, — сказала я. — Если не начнётся гниение завтра — выживет.

Храбр смотрел на брата, потом на меня.

— Ты не ведьма, — сказал он. — Ведьмы так не режут. Ведьмы шепчут и плюются. Ты работаешь, как кузнец.

— Спасибо, — усмехнулась я. — Это комплимент.

— Не знаю, — он покачал головой. — Может быть.

Он ушёл, уводя брата. Я села на лавку, вытерла руки. Ми-лава стояла рядом, смотрела на меня широкими глазами.

— Ты не боялась? — спросила она.

— Боялась, — ответила я. — Очень. Но делала.

— А если бы он умер?

— Значит, я сделала всё, что могла. И это было бы не моей виной.

— А он сказал — убьёт.

— Не убьёт, — я покачала головой. — Он умный. Видит, что я полезнее живая.

В дверях показался Велеслав. Он зашёл, сел на лавку, по-

смотрел на меня. Я ждала его — кружка с взваром стояла на столе, но я не пила. Голос держался и так, тепло его взгляда грело горло лучше любого напитка.

— Руку давай, — сказала я.

Он протянул культю. Я размотала повязку, осмотрела швы. Хорошо. Очень хорошо. Серебро светилось тускло, но ровно. Кожа вокруг розовая, без покраснения, без отёка. Заживление шло быстрее, чем я ожидала — даже в Москве с пластической хирургией не всегда такой результат.

— Скоро можно будет снять нити, — сказала я, накладывая новую повязку. — Дней через пять. Рука будет болеть ещё месяц, но уже не так сильно. Костный нарост не вернётся.

— Ты говорила, — он кивнул.

Я хотела отпустить его руку, но он не отпустил. Сжал мои пальцы своей правой — осторожно, будто боялся сломать. Я почувствовала тепло его ладони, шершавые мозоли, и внутри что-то ёкнуло. В Москве я не держала мужчин за руки. Только пациентов — и то в перчатках.

— Я слышал, приходил Борислав, — сказал он, не отпуская моей руки.

— Приходил, — ответила я. — Грозил донести южному князю. Говорил, что я отнимаю у них хлеб, что я еретичка.

— Он давно меня не любит, — Велеслав усмехнулся, но в глазах мелькнула сталь. — А теперь невзлюбит и тебя.

— Мне всё равно.

— Он не прав, — голос Велеслава стал твёрже, громче.
— Ты спасла больше людей за десять дней, чем он за десять лет. И не заговорами, а делом. Я скажу ему это, если придёт снова. И всем, кто будет слушать.

Я посмотрела на него. Внутри — тепло. Не от печи, от его слов. В Москве никто не вставал на мою сторону перед начальством. Я справлялась сама. А здесь — этот хмурый, однорукий княжич готов спорить с ведунями ради меня.

— Ты рискуешь из-за меня, — сказала я. — Почему?

— Потому что ты — первое, ради чего мне хочется жить, — ответил он. — Не защищать. Не умирать. Жить. С тобой. Рядом.

— А если я уйду?

— Не уходи, — он повернулся ко мне. — Ты нужна здесь. Мне нужна. Людям нужна.

Мы сидели в тишине. Печь потрескивала, за окном темнело. Северное сияние разливалось зелёным, текло по небу, как краска по воде.

Позже, когда Велеслав ушёл, Радосвета подсела ко мне.

— Ты слышала, что он сказал? — спросила она.

— Слышала.

— Он никогда не говорил таких слов. Никому.

— Может, потому что никто его не спрашивал, — я пожала плечами.

— Может быть, — она кивнула. — Но ты — первая. И это важно.

Она достала из сундука маленькую склянку, налила в неё серебряной воды, добавила каплю своей крови из пальца и зашептала что-то на греческом. Я не понимала слов, но чувствовала — магия течёт, сгущается, становится плотной, осязаемой.

— Теперь ты, — она протянула мне пустую склянку.

Я повторила её движения. Налила серебряную воду, уколола палец иглой, выдавила каплю крови. Прошептала молитву — не греческую, русскую, ту, что бабушка учила в детстве: «Отче наш». Жидкость вспыхнула молочным светом, стала гуще, теплее.

— Получилось, — кивнула Радосвета. — Ты быстро учишься.

— Я врач, — пожала я плечами. — Я привыкла учиться. Каждый день — новое.

Она посмотрела на меня долго, потом встала.

— Спи, — сказала. — Завтра новый день. Новые пациенты. Борислав не успокоится. Но мы справимся.

Она ушла в сени. Я осталась одна. Сидела, смотрела на огонь.

Думала о Бориславе, о его угрозах. О том, что Велеслав встал на мою сторону, не колеблясь. О том, что он сказал: «Ты спасла больше людей, чем он за десять лет». Он видел мою работу. Он верил в меня.

В Москве я была одна. Здесь — тоже одна. Но здесь есть он. И Милава. И Радосвета. И люди, которые приходят ко

мне за помощью. Я нужна здесь. Я не нужна была там.

Я решила: остаюсь. Не сейчас. Не завтра. Я ещё не готова сказать ему. Но я остаюсь.

Засыпала с этой мыслью. Сено шуршало под спиной, печь уже холодная, но мне тепло. Не от печи, не от взвара. От того, что я не одна. От того, что меня ждут.

Глава 11. Южный гость.

Утро начинается с того, что Радосвета не пускает меня на площадь. Стоит в дверях, опершись на клюку, перекрывает проход. Её единственный глаз смотрит тревожно, пальцы нервно перебирают край шали.

— Сиди, — говорит. — Сегодня не принимай. Чужие пришли.

— Какие чужие? — я выглядываю в щель между брёвнами. Там, у колодца, фигуры в тёмном, блеск металла.

— Из южного княжества. Воины. Спрашивают тебя.

Внутри — холодок. Вчерашний Борислав обещал донести князю. Неужели так быстро? Я думала, у меня есть хотя бы седмица. Или это другое? В Москве проверки приходили внезапно, но я всегда была готова — истории болезней заполнены, пациенты ухожены, инструменты простерилизованы. Здесь я готова только к лечению, не к защите.

Выглядываю снова, осторожно, чтобы не заметили. У колодца — пятеро. В кожаных доспехах, с мечами на поясах, некоторые с топорами за спиной. Лица суровые, обветренные, как у всех здесь. Среди них — Храбр. Тот самый кузнец, чьего брата я лечила вчера. Коренастый, широкоплечий, рыжая борода торчит в разные стороны, как куст после бури. Сегодня без фартука, в кольчуге, поверх неё — тёмный плащ. Стоит, скрестив руки на груди, смотрит на мою избу.

Взгляд тяжёлый, оценивающий.

— Он приходил с братом вчера, — говорю я Радосвете.
— Я его брата лечила. Он не враг. Он даже спасибо сказал.

— Сегодня он не лечить пришёл, — качает головой старуха. — Сегодня он пришёл убивать. Или хватать. Запах железа и угрозы — я его чую за версту.

— Откуда знаешь?

— Чую, — она касается повязки на глазу. — Триста лет живу, такую чуйку нажила. Запах врага не спутаю ни с чем.

Высовываюсь на крыльцо. Храбр замечает меня, кивает. Его воины тоже поворачиваются, смотрят. Я чувствую их взгляды — кто-то с любопытством, кто-то с ненавистью, кто-то равнодушно, как на товар.

— Выходи, — говорит Храбр. — Разговор есть.

— Заходи, — отвечаю. — На морозе разговаривать не буду. И не собираюсь орать через всю площадь, как на базаре.

Он колеблется, смотрит на своих воинов. Переглядывается с ближайшим — молодым, с рыжей бородкой. Потом машет рукой, и четверо остаются у колодца. Храбр идёт к крыльцу один. Тяжёлые сапоги утюжат замёрзшую землю, оставляют глубокие следы, в которых тут же оседает лёд.

В избе он садится на лавку, смотрит на меня. Радосвета встаёт в углу, держит клюку наготове — будто не для опоры, а для удара. Молчит, но я чувствую её напряжение.

— Зачем пришёл? — спрашиваю я, садясь напротив. Кружка с взваром стоит на столе, но я не пью — голос и так

держится. Тепло внутри от вчерашнего разговора с Велеславом ещё не остыло.

— Князь велел, — Храбр хмурится, потирает переносицу. — Привести немую ведьму. Ту, что лечит серебром. Ту, что отнимает хлеб у ведунов. Ту, о которой Борислав донёс.

— Я не ведьма, — говорю спокойно. — И не немая. Говорить умею, как видишь.

— Мне всё равно, — он пожимает плечами, и кольчуга звенит, как посудная лавка. — Приказ есть приказ. Я воин, я выполняю.

— А если я не пойду?

— Заберут силой, — он кивает на окно, где виднеются фигуры воинов. — Нас пятеро. Твоя старуха и однорукий княжич — не защита. У вас даже лука нормального нет.

— Велеслав? — я смотрю на дверь. — Он знает, что вы пришли?

— Пока нет, — Храбр усмехается, но усмешка выходит кривой, безрадостной. — Но скоро узнает. Лес не резиновый. И он не единственный, кто умеет ходить по тропам.

— Забирайте, — говорю я, чувствуя, как внутри всё сжимается. — Но сначала дайте мне закончить с пациентом.

— Нет, — голос сзади, низкий, жёсткий. Велеслав. Он стоит в дверях, огромный, плечистый, правая рука на топоре, левая культия прижата к груди. Глаза серые, холодные, как зимнее небо. — Никто её не заберёт.

Храбр встаёт, поворачивается к нему. Воины за окном на-

стораживаются, тянутся к мечам.

— Княжич, — Храбр кивает. — Не лезь. Не твоё дело.

— Моё, — Велеслав делает шаг вперёд. — Она моя. Я её выкрал, я и отвечаю.

— Князь приказал, — Храбр не отступает. — Не глупи. Нас пятеро.

— А я один, — Велеслав усмехается, но усмешка выходит невесёлой. — И это много.

Воины входят в избу — трое, с мечами наголо. Теснятся, в избе становится тесно, пахнет железом и потом. Велеслав не ждёт. Бьёт первым — топором в грудь ближнему. Тот отлетает к стене, падает, но не встаёт. Кровь на полу, тёмная, густая.

— Стой! — кричит Храбр, но Велеслав уже рубится с двумя другими. Одна рука, топор свистит в воздухе, удары короткие, злые. Воины насаждают, но он уворачивается, бьёт снова. Один хватается за плечо, другой отступает к двери.

— Скажи им, чтобы ушли, — Велеслав смотрит на Храбра. — Или я их всех убью.

Храбр смотрит на своих воинов — один лежит без движения, у другого рука в крови, третий замер с мечом на полпути. Потом переводит взгляд на меня.

— Лечи, — говорит он воину с раненой рукой. — Она лечит.

Тот колеблется, но подходит ко мне, протягивает руку. Кровь течёт по пальцам, рана глубокая, но не смертельная.

Я беру тряпицу, зажимаю, промываю серебром. Воин шипит от боли, но не отдёргивает.

Велеслав стоит рядом, топор наготове. Не опускает.

Внутри — холодная ярость. Как перед сложной операцией, когда пациент на грани, а ты должна решить — резать или не резать, рискнуть или отступить. В Москве я не боялась ни начальства, ни проверок, ни родственников пациентов, ни судебных исков. Здесь — боюсь. Боюсь не за себя — за Милаву, за Радосвету, за него. Но не показываю. Страх не должен мешать.

— Твой брат, — говорю, смотрю ему прямо в глаза. — Тот, которого я вчера лечила. Он жив?

— Жив, — Храбр кивает, и его лицо чуть смягчается. — Рука заживает. Серебро твоё светилося, рана чистая. Он уже встаёт, ругается, что не пускают в кузницу.

— Я пришла сказать спасибо. А потом — выполнить приказ, — он вздыхает, тяжело, всей грудью.

— Спасибо можно не говорить, — я смотрю ему в глаза. — Ты хочешь убить меня. Или отвезти к князю. А он меня убьёт. Или принесёт в жертву. Это одно и то же.

— Может быть, — он не отводит взгляд, но в глазах мелькает что-то — сомнение? — Может, помилует. Я не решаю. Я не князь.

— Ты решаешь, — я встаю, чтобы он видел — я не боюсь, даже если боюсь. — Ты здесь. Ты командуешь этими воинами. Ты можешь развернуться и уйти. Сказать, что не нашёл

меня. Что я сбежала в лес.

— Не могу, — он качает головой. — Клятва. Я поклялся князю в верности. Кровью клялся, на мече. Это не просто слова.

— А жизнь брата? — я смотрю на него. — Ты поклялся спасти его? Или бросил бы умирать, когда у него рука гнила?

Он молчит. Пальцы сжимают край стола так, что дерево скрипит, будто жалуется. Кожаные перчатки скрипят на сгибах. Вены на руках вздуваются.

— Ты ловко говоришь, — наконец произносит он. — Как колдунья. Заговариваешь зубы.

— Я врач, — поправляю. — Я умею убеждать пациентов, чтобы они не боялись операции. Это не колдовство. Это опыт. Двадцать девять лет жизни и десять лет учёбы.

Он хмурится, но ничего не отвечает.

В дверь стучат. Коротко, резко, нетерпеливо. Не дожидаясь ответа, входит один из воинов — молодой, с рыжей бородкой, на левой руке повязка, пропитанная кровью, грязная, видно, что не менял несколько дней. Он морщится, прижимает кисть к груди, будто она болит при каждом движении.

— Храбр, — говорит. — Палец. Гноится. Не могу держать меч. Не могу даже ложку держать.

Храбр смотрит на меня. В его взгляде — вопрос. Сможешь? Хочешь?

— Покажи, — говорит он воину.

Воин протягивает руку. Указательный палец распух, кожа багровая, почти чёрная, лоснится. Из-под ногтя сочится гной с неприятным сладковатым запахом — запах смерти, я знаю его с первого курса, когда мы вскрывали трупы. Я подхожу, беру его руку — он вздрагивает, но не отдёргивает. Кисть горячая, лихорадочная.

В Москве я бы сказала: панариций, запущенный, гной под ногтём и в мягких тканях, начинается сепсис пальца. В Москве — вскрытие, антибиотики, возможно, удаление ногтевой пластины. Но здесь, в этом мире, без антибиотиков, без лаборатории — через три дня заражение крови. Через неделю — смерть. Или ампутация всей руки, если повезёт дожить до неё.

— Сколько дней? — спрашиваю.

— Пять, — воин морщится. — Порезался о меч. Думал, заживёт само. Травы прикладывал, заговоры читал. Не заживает.

— Не заживёт, — я отпускаю его руку. — Гной внутри. Он поднимается выше. Видишь красную полосу от пальца к запястью?

Он смотрит, бледнеет. Красная линия тянется по тыльной стороне кисти, поднимается к локтю.

— Через три дня ты умрёшь, — говорю прямо. — Без лечения. С лечением — потеряешь палец, но выживешь.

— Врёшь, — воин бледнеет ещё больше, губы становятся

серыми.

— Смотри, — я беру его за запястье, надавливаю на покрасневшую кожу выше раны. — Видишь, как гной сочится? Это лимфа. Гной идёт вверх по руке по сосудам. Когда дойдёт до локтя — придётся отрезать руку по локоть. Когда до плеча — умрёшь. У тебя есть два дня, чтобы решить.

Воин смотрит на свою руку, потом на Храбра. Глаза круглые, как у ребёнка, который впервые увидел смерть.

— Она врёт, — говорит он, но в голосе нет уверенности, только страх.

— Не врёт, — я возвращаюсь к столу, беру нож — тот самый, которым вчера резала брата Храбра. Лезвие острое, блестит. — Я могу вылечить. Отрезать палец — и ты будешь жить. Чистая рана, серебро, мёд. Через месяц забудешь.

— Отрезать палец? — воин отступает на шаг, прижимает больную руку к груди.

— Или умереть, — пожимаю плечами. — Выбирай. Время идёт.

Храбр смотрит на меня, потом на воина. Молчит. Потом говорит:

— Она спасла моего брата. Рука зажила. Я видел.

— Ты уверена? — спрашивает он у меня.

— Уверена, — отвечаю. — Через три дня он умрёт. Я это вижу. Как вижу, что твой брат выжил после моей операции. Как вижу, что у тебя нет сепсиса, хотя ты весь в шрамах.

— Если он умрёт — я убью тебя, — говорит Храбр. Без

злости, скорее констатируя факт.

— Ты уже обещал, — усмехаюсь я. — В прошлый раз. И в прошлый раз не убил.

Воин смотрит на свой палец, на нож, на меня. Потом переводит взгляд на Храбра. Тот кивает.

— Пусть делает, — говорит воин. — Всё равно хуже не будет. Хуже уже некуда.

Я сажусь за стол, раскладываю инструменты. Нож, серебряные нити, мёд, чистые тряпицы, иглы костяные. Милава стоит в углу, смотрит широкими глазами, но не уходит. Я разрешила ей смотреть — так она учится. Радосвета кипятит воду, подаёт горячие тряпки, не задаёт вопросов.

— Сядь, — говорю воину. — Зажми в зубах ремень. Будет больно. Очень больно. Но если дёрнешься — я могу повредить сосуд, и ты умрёшь быстрее, чем от гноя.

Он садится на лавку, берёт ремень, закусывает. Лицо белое, как береста, пот на лбу крупными каплями, но глаза спокойные — решился. Храбр встаёт за его спиной, кладёт руки на плечи. Крепко, как капкан.

— Держи, — говорю ему. — Не давай дёргаться. Даже если закричит. Даже если обмочится.

Беру нож. Вспоминаю свою первую ампутацию в Москве — палец, гангрена у диабетика. Профессор стоял рядом, подсказывал. Руки тогда тряслись, но я сделала. Теперь не трясутся. Делаю надрез у основания пальца, отделяю сухожилия — аккуратно, чтобы не задеть здоровые ткани.

Кровь идёт, тёмная, венозная, но я быстро переживаю сосу-
ды серебряной нитью. Серебро светится молочным, запека-
ет края. Потом — перерезаю кость. Хруст — противный, от
которого мурашки бегут по спине, но я не останавливаюсь.
Воин стонет сквозь ремень, глухо, как зверь, но не дёргается.
Храбр держит его крепко, сам побелел, но не отпускает.

Промываю культю серебряной водой — лью из кружки
тонкой струйкой, не жалея. Серебро шипит, светится ярко,
как маленькое солнце. Накладываю швы — часто, мелко,
чтобы рубец был аккуратным. Сверху — мёд, липкий, тёп-
лый, пахнувший цветами. Потом повязка, чистая, белая.

— Готово, — выдыхаю, откидываясь на лавку. — Через
неделю снимешь повязку. Палец не вырастет, но жить бу-
дешь. Руку сохранишь.

Воин выплёвывает ремень, смотрит на свою руку. Кухля
перемотана чистой белой тряпицей, крови почти не видно,
только маленькое розовое пятно.

— Не болит, — удивлённо говорит он. — Совсем. Только
тепло.

— Потом заболит, — отвечаю. — Когда заживать начнёт.
Чесаться будет. Терпи. И серебряную воду пей — три раза
в день по глотку.

Он встаёт, идёт к двери. Останавливается, оборачивается.

— Спасибо, — говорит. — Не ведьма ты. Ведьмы так не
режут. Ведьмы кровь пьют и кости ломают. А ты чисто ра-
ботаешь.

— Я знаю, — отвечаю.

Он уходит. Храбр остаётся. Смотрит на меня долго, тяжело, в упор. Молчит. Я тоже молчу — пусть думает.

— Ты спасла моего брата, — говорит наконец. — Теперь спасла моего воина. Я тебе должен. Дважды.

— Ничего ты мне не должен, — я вытираю руки тряпичей. — Я лечу не за деньги и не за долги. Не за мясо и не за серебро.

— Зачем же? — он хмурится, рыжая борода топорщится.

— Это моя работа. Клятва. Я поклялась спасти жизни, даже если пациент — враг. Это выше князя и выше клятвы на мече.

— Клятва? — он поднимает бровь.

— Врачебная. Не навреди. Спасай, если можешь. Даже если тот, кого спасаешь, пришёл тебя убить.

Он молчит. Потом встаёт, идёт к двери. На пороге оборачивается.

— Князь послал убийц, — говорит. — Через три дня будут здесь. Не воины — наёмники. Их не остановить клятвой. Они убьют всех, кто будет мешать. Уходите. На Север, в горы, в лес — куда угодно. Только подальше отсюда.

— Почему ты помогаешь? — спрашиваю.

— Я делаю это не для тебя, — он качает головой. — Для брата. Чтобы он жил. Чтобы не пришлось ему тебя хоронить. А потом самому гнить от того, что не спас.

Уходит. Дверь закрывается. Я остаюсь одна.

Радосвета подходит, садится рядом.

— Храбр — хороший человек, — говорит. — Для воина. Для южанина. Он поможет.

— Знаю, — киваю.

— Ты пойдёшь?

— Не знаю, — я смотрю на огонь. — Подумаю.

Вечером приходит Велеслав. Я жду его — сижу у окна, смотрю на тропу из леса. Он идёт быстро, широкими шагами, культия прижата к груди, повязка белеет в сумерках. В избе садится на лавку, смотрит на меня. Не спрашивает — я вижу, он знает.

— Храбр приходил, — говорю. — Сказал, князь послал убийц. Через три дня.

— Я знаю, — он кивает. — Лес видел. Чужие следы у северной тропы.

— Что будем делать?

— Уходить, — он пожимает плечами. — На Север. В горы. Там Стужа сильнее, люди не ходят. Нас не найдут.

— А люди здесь? — я смотрю на него. — Милава? Радосвета? Они останутся?

— Они с нами, — он качает головой. — Или мы с ними. Я не брошу.

Мы сидим в тишине. Печь потрескивает, за окном темнеет. Северное сияние разливается зелёным, течёт по небу, как краска по воде.

— Ты боялась? — спрашивает он.

— Боялась, — честно отвечаю. — Очень. Когда Храбр вошёл, когда увидела воинов — всё внутри оборвалось. Как в операционной, когда пациент перестаёт дышать.

— Ты не показала, — он смотрит на меня. — Стояла спокойно. Говорила твёрдо.

— Страх не должен мешать, — пожимаю плечами. — Врач не имеет права показывать страх. Иначе пациент умрёт.

— Ты не Милана, — говорит он. — Милана боялась. И убежала навстречу Стуже. А ты не бежишь. Ты стоишь.

— Я врач, — я смотрит на него. — Я бегу к пациенту, а не от него. Даже если пациент — весь этот мир.

Он молчит долго. Потом встаёт, идёт к двери.

— Завтра скажу Радосвете, — говорит. — Будем готовиться. Уходить через два дня, на рассвете.

— А Храбр?

— Храбр задержит их, сколько сможет. День, может, два. Этого хватит.

Уходит. Я остаюсь одна.

Ночью не сплю. Сажу у окна, смотрю на звёзды. В Москве я не видела звёзд — городская засветка, фонари, реклама. Здесь небо чёрное, глубокое, а звёзды крупные, как капли воды на стекле, будто кто-то рассыпал их горстями.

Слышу шаги. Тихо, осторожно, крадучись. Кто-то идёт к избе. Не Велеслав — тот ходит тяжело, уверенно, как медведь. Этот крадёт, как вор, как зверь, который боится капкана. Стук в дверь. Короткий, условный — три удара, пауза,

ещё два.

Подхожу, открываю.

На пороге — Храбр. Один. Без кольчуги, без оружия, в кожаном фартуке, в простой льняной рубаше, измазанной сажей. В руках — узел, перетянутый верёвкой, большой, тяжёлый.

— Заходи, — говорю.

Он входит, садится на лавку. Оглядывает избу — печь, стол, лежанку, меня. Потом развязывает узел. Там — травы, склянки с мёдом, серебряные пластины, чистые тряпицы, даже пара ножей, острее моих.

— Это тебе, — говорит. — Лечить будешь. Мои запасы. У вас здесь бедно.

— Спасибо, — смотрю на него. — Зачем ты это делаешь?

— Я решил, — он смотрит прямо. — Князь послал убийц. Через три дня будут здесь. Уходите. Я сказал уже.

— А ты?

— Я скажу, что вы ушли. Что не догнал, — он пожимает плечами. — Мне не впервой врать князю. Я воин, я умею врать.

— Почему ты помогаешь?

— Ты спасла моего брата, — он смотрит на меня. — Ты спасла моего воина. Я не забываю добро. Это выше клятвы.

— И что теперь?

— Теперь — уходите, — он встаёт. — Через два дня. Я задержу их, сколько смогу. Скажу, что вы ушли на Запад, а

сами идите на Север. Туда, где Стужа.

— Спасибо, — говорю.

— Не благодари, — он качает головой. — Я делаю это не для тебя. Для брата. Чтобы он не плакал, если тебя убьют.

Он уходит. Я остаюсь одна. Смотрю на узел с лекарствами — травами, мёдом, серебряными пластинами. Храбр помог. Враг, который стал союзником. Потому что я лечила. Потому что я не убивала, даже когда могла.

Сажусь у окна, смотрю на звёзды. Думаю о Москве, о пустой квартире, о холодильнике с засохшей едой. Думаю о нём — о Велеславе, о его серых глазах, о том, как он сказал «ты не Милана». Думаю о Милаве, о Радосвете, о Храбре.

Два дня. У нас два дня, чтобы уйти. Или чтобы придумать, как остаться. Я не знаю, что выберу. Но я знаю, что не сдамся. Не сейчас. Не после всего.

Засыпаю под утро, когда небо начинает сереть. И мне снится Москва — метро, толпы людей, операционная, запах антисептика. А потом — он. Велеслав. Стоит у моей кровати, смотрит на меня. И я просыпаюсь с мыслью, что не хочу возвращаться. Хочу остаться здесь. С ним.

Глава 12. Дерево переходов.

После того как Храбр ушёл, я почти не спала. Лежала на лежанке, смотрела в потолок, слушала, как Радосвета возится в сених, как ветер гудит за окном. В голове — каша. Убийцы через два дня. Храбр обещал задержать, но надолго ли? Он сам сказал — не воины, наёмники. Их не остановить клятвой, не купить серебром. Они придут и будут убивать всех, кто встанет на пути. В Москве я бы просто позвонила в полицию. Или уехала в другой город. Здесь — только лес, святилище и он. Велеслав. Однорукий княжич, который вчера рубился с тремя воинами, чтобы защитить меня. Я видела, как он дрался — топор в одной руке, культа прижата к груди, удары короткие, злые, без лишних движений. Он не кричал, не ругался, просто делал своё дело. Как на операции. Как я.

Под утро, когда небо за окном начало сереть — не розоветь, как в Москве, а просто становиться чуть светлее, от чёрного к серому, — в избу вошёл Велеслав. Без стука, без

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.